

**«...Ты не верь, будто
все у нас позади...»**





«...Ты не верь, будто все у нас позади...»

Москва, 2016

Составители: *Н. Дзядко, М. Занадворов, В. Сергеев*

Редактор: *М. Алхазова*

Идея художественного оформления: *Е. Абрамкина*

Макет: *К. Васильева*

Издание осуществлено при поддержке французской
благотворительной организации Asser-Russie.

«...Ты не верь, будто все у нас позади...» — М.: РОО
“Центр содействия реформе уголовного правосудия”, 2016.

Сборник составлен из воспоминаний о Валерии Абрамкине
(1946 – 2013) — российском диссиденте и правозащитнике.

Он был одним из основателей КСП (Клуба студенческой
песни), создателем и редактором самиздатских журналов
«Воскресенье» и «Поиски».

После тюрьмы и лагерей, где заболел туберкулезом, Вале-
рий Абрамкин организовал Центр содействия реформе
уголовного правосудия, став его бессменным директором.
Благодаря Абрамкину на Радио России появилась радио-
передача «Облака» — о заключенных, для заключенных и
всех тех, кому не безразлична их судьба; была издана книга
«Как выжить в советской тюрьме», составителем и автором
которой он был.

Кроме мемуаров об этом мужественном и сострадательном
человеке в настоящий сборник включены интервью с ним
и стихотворения, написанные как им самим, так и другими
авторами.

© РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2016

Содержание

От составителей	5
Вспоминая Валеру Абрамкина	
Соня и Виктор Сорокины	7
Глеб Павловский	8
Виктор Сокирко	10
Лиля Ткаченко	10
Александр Петров	11
Валерий Сергеев	12
Александр Седов	17
Михаил Занадворов	27
Елена Санникова	36
Татьяна Щур	40
Николай Щур	41
Абрамкин о себе	45
Интервью с Валерием Абрамкиным	
«Воскресенье» (фрагменты)	89
Поэтический раздел	
Илья Габай	91
Владимир Бережков	96
Александр Мирзоян	97
Виктор Луферов	99
Вера Матвеева	102
Валерий Абрамкин	103
Александр Седов	107
Михаил Занадворов	111



От составителей

17 мая 2014 года в правозащитном центре «Мемориал» на Благотворительном завтраке памяти Валерия Абрамкина собрались его друзья и единомышленники. Главной особенностью этой встречи был ее не только мемориальный, но и рабочий характер, поскольку она посвящалась детям до трех лет, вместе с мамами содержащимся в женских колониях. Валерий Абрамкин со свойственной ему ясностью понимания предвидел большинство тюремных проблем, актуальных и по нынешний день, в том числе тюремное материнство. Его фильм, показанный в тот день, так и называется “Мамская зона”.

Кроме воспоминаний о Валере, прозвучавших на Благотворительном завтраке, в этот сборник вошли и первый его издательский опыт — журнал «Воскресенье», фрагменты которого помещены в Поэтическом разделе, и интервью, данное В. Чесноковой и Л. Блехеру в 1988 г., но остающееся актуальным по нынешний день, несмотря на минувшие с тех пор почти 30 лет.

На Благотворительном завтраке директор «Института прав человека» Валентин Гефтер высказал те самые мысли, которые вдохновляли и нас при создании этой книги: «Когда вспоминаем Валерия Абрамкина, то не только о человеке помним, но и плоды его усилий. Он, конечно, больше, чем просто специалист по пенитенциарной системе, к которой имеет отношение огромное число людей... Никак у нас не становится меньше полумиллиона за решеткой, и многие из осужденных и их близких точно должны быть Валере благодарны за участие в их судьбе. Наверное, чтобы это почувствовать, надо посидеть самому. Тут теоретические усилия недостаточны и неэффективны — чаще всего необходимы люди, прошедшие такую жизненную школу и отдающие страдающим то, чем была наполнена Валерина душа».

Вспоминая Валеру Абрамкина

Валере очень важно было защищать людей — всех.

Л.Ткаченко

Соня и Виктор Сорокины

члены редколлегии журнала «Поиски»

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРЫ АБРАМКИНА

Когда в 1977 году мы познакомились с Валерой, он был абсолютно свободной Личностью (с большой буквы), к чему он, кстати, относился совершенно естественно — как к какому-нибудь родимому пятну. Из этого источника и мы глотнули Святого Духа. Именно за этот Дух Валеру и наградила советская власть шестью годами лагерей...

Валерина энергия была фантастически огромной. Он был во всех смыслах локомотивом при создании первого в послесталинской России широко общественного пяти-сотстраничного журнала «Поиски» с открытой редакцией — предшественника журнала «Метрополь». Без какой-либо общественной организации Валера собрал по всей стране десятки интересных авторов самой разной политической и эстетической направленности. И это явилось открытым вызовом советскому тоталитаризму.

Всех сотрудников «Поисков» было не менее сотни, а может, и человек двести (последняя цифра вероятней, так как по Делу о «Поисках» были проведены около 230 обысков).

Техническая сторона журнала «Поиски» осуществлялась на тех же принципах, что и правозащитное движение в целом.

Любимый наш Валерий действительно всегда отстаивал свою позицию, независимую точку зрения. И он очень много сделал для защиты прав заключенных и улучшения ситуации в системе исполнения наказаний. Валерий был природный общественный деятель — диссидент, политзаключенный, правозащитник, историк...

Мы всегда очень и очень любили его.

Глеб Павловский

российский политолог

Конечно же, мы не встретились бы в таком составе без Абрамкина. Для меня главная встреча с ним была в 70-е. И я думаю, при всех моих планах тогдашних вряд ли я занимался бы журналом так долго, если бы не Валера: он был душой этого дела. Вообще он был совсем другим до ухода на зону, абсолютно другим. «Абсолютно», конечно, слово здесь не совсем подходящее, но действительно помню, что Валера был совершенно цельным тогда — как, впрочем, и в 90-е годы, — из другого материала.

Я описать это совершенно не могу, это эстетически и этически цельные переживания — и встречи с Валерой, и работа с ним во второй половине 70-х. Я не был из клуба КСП, для меня это мало что значило, об этом другие знают и могут рассказать лучше.

Но потом был лагерь. Валера, в каком-то смысле будучи совершенно другим, чем я, обладал совершенно ясными представлениями о том, что такое зона и что его там ждет — и определенной установкой. Он сумел в каком-то смысле

эту ситуацию поменять — не изменить, а поменять. Безусловно, этот опыт стал для Валеры центральным, иным, чем долагерный.

Помню первую нашу встречу сразу после Валериного возвращения в декабре 1985-го, он жил тогда в деревне. Валера мне сказал — это даже меня как-то больно задело тогда, — что слушал наши вечера, проводившиеся с песнями и воспоминаниями в 70-е, такие своеобразные «квартирники»: «Знаешь, у вас там все пустое». Для меня это оказалось неожиданностью. У Валеры было уже что-то другое, и я не знал, о чем он говорит, что он имеет в виду... Это были очень милые и очень эмоциональные встречи, мне как раз они запомнились как, я бы сказал, мотивирующие. Но для Валеры уже существовал другой счет, сформировались другие требования и к жизни, и к людям, и к деятельности. Собственно, с этого и началась его иная жизнь, которую я наблюдал уже со стороны, потому что сам жил другим. И Валера в этом новом существовании тоже был полностью целен. Это была не только философская цельность — это цельность полная, отчетливая, отдающая себе отчет при включении в жизнь, при обдумывании того, что ты делаешь, с извлечением опыта из пережитого — что у нас вообще мало принято, — с корректировкой себя... От 70-х у Валеры осталось, скорее, стремление менять себя, а не других.

Валера прожил несколько жизней. Каждая из них была полной, целостной, хотя, наверное, не каждая из них была счастливой... Поэтому он, я думаю, в наименьшей степени поддается упрощению. Очень многих людей 70-х легко вспоминать, потому что все можно свести к какой-то формуле: «Чем человек занимался? Тем-то и тем-то. Тот диссидент, тот делал то-то, тот сидел за то-то». Прекрасные люди! Но вот Валеру очень трудно так охарактеризовать. И это тоже было Валериным выбором, сознательным решением. Он, по известному слову, стал разным для разных, чтобы спасти хотя бы некоторых.

Виктор Сокирко

экономист, советский диссидент,
член редколлегии самиздатского журнала «Поиски»

Трудно мне удержаться и промолчать, когда вспоминают Валеру. Меня арестовали вслед за ним — и как он спасал меня! Спасал после этого моего ареста, когда я уже принимал решение все-таки найти какой-то компромисс. Потом это долгое время было для меня переживанием: не сдался ли я? И именно Валерин голос, Валерина вера в меня убеждали меня в том, что я принимал правильные решения, что — нет, не сдался, не подчинился и выбрал правильный, свой, путь. Валера его одобрил. И благодаря ему, я получил возможность обойтись без лагеря. Валера меня спас от лагеря. Валерин свет я просто почувствовал на своей шкуре, когда он одобрил мое решение. И потом я никогда не раскаивался ни в своем решении, ни в Валерином. Потому что Валера, я всегда знал, меня одобряет, потому что главное свое решение — не покаяться и ни на кого не дать показаний — я выполнил. И Валерина помощь в том, что он сказал, что в будущем я буду его защищать, и это спасло мою совесть на долгие годы. Сейчас я живу благодаря Валере, можно так сказать.

Лиля Ткаченко

патентовед, жена Виктора Сокирко

Витя говорил про Бутырку, и я вспомнила, как Валера организовал протест, ради которого Витя объявил недельную голодовку, а Валера чуть не до смерти объявил — это было связано с окружающими их людьми. В тюрьме было очень жарко, и совершенно необходимо было, чтобы люди остались живы. Среди заключенных было много больных, камеры перегружены. Нужно было открыть окна, хотя бы

одно, чтобы хоть как-то можно было дышать. Валера с Витей сидели в соседних камерах, и была возможность и перекричаться, и передать записки. Вот они и договорились, что Витя тоже будет стараться поднять свою камеру на протест. Но у Вити не получилось, а Валера обаятельный, он свою камеру поднял. Все, что смог сделать Витя, это крикнуть ему в окно: «Валера, я с тобой!» — один из всех своих сокамерников.

Получилось, открыли окна, протест был удовлетворен.

Валере очень важно было защищать всех людей. Витя — он только «хозяйственников» защищал, у него такой был принцип: он шел к светлому будущему, но к капиталистическому. А Валера защищал всех людей независимо ни от чего — для него это было гораздо важнее, чем такая Витина принципиальность.

Но тем не менее тогда они оказались вместе. Выяснилось, что искреннее отношение к своему делу, к людям, вообще к своей стране у них было общее, и в тот момент они вдвоем спасали людей вокруг себя, как могли.

Александр Петров

член Human Rights Watch

Мы с Валерой были знакомы в конце 80-х – начале 90-х годов. Но этих нескольких лет оказалось для меня вполне достаточно, чтобы понять масштаб этого человека, масштаб его личности. Валера был человеком идеи, для него не существовало экзистенции: были идеи, и, насколько я знаю, вся его жизнь вокруг них вращалась. Абрамкин обладал при этом удивительным свойством: он каким-то образом умел с потрясающей скоростью затягивать в эту свою орбиту других людей. Вот только что мы с ним познакомились — и не успел я оглянуться, как уже сидел у него в квартире и что-то там такое либо редактировал, либо пе-

реводил. После этого все пошло кувырком, продолжаясь безостановочно года три или четыре, когда мы немножко разошлись. Но, несмотря на это, Абрамкин продолжал оставаться для меня, выражаясь высоким слогом, светилом, близким источником света, с которым я частенько вел мысленные беседы — не говоря уж о том, что ведь можно было просто позвонить ему по телефону.

Жаль, что все так сложилось, что многие его идеи остались лишь на бумаге, — я имею в виду нынешние пертурбации, нынешнюю нашу не очень благополучную жизнь и правозащитное движение в целом.

С одной стороны, Абрамкин был консерватором в бердяевском смысле слова. Но в то же время он был и либералом, потому что либерализм неотделим от гуманизма, а Абрамкин, безусловно, являлся гуманистом — вся его жизнь, вся его деятельность об этом говорит.

Я его все время вспоминаю и убежден, что многие тоже частенько о нем думают и сверяют по нему свои планы и дела. Уж не говорю о близких Валериных друзьях, для которых он, наверное, остался таким, каким был, каким я его не знал — до 88-го года, например, или в 90-х годах.

Жаль, что Валера так рано ушел, для мыслителя это не возраст.

Валерий Сергеев

сотрудник Центра с 1992года

В начале 90-х Валера был для меня олицетворением Идеи. Точнее он сам был ходячая идея со всем своим очарованием: призванный охмурять женщин и всех вокруг себя. Как он до посадки был заводилой, по свидетельству тех, кто его тогда знал, таким увидел его и я — в первый раз в конце 80-х. В этом смысле тюрьма, видимо, его мало изменила. Срок и полученный через него опыт, в чем-то более

уникальный и трагичный, чем у других политзеков, плюс все-все, что было до посадки, делало его неотразимо привлекательным для тех, кто его тогда знал, кто был с ним рядом.

В те наши замечательные 90-е, когда большинство бывших «советских» потеряло жизненные ориентиры, а часто и средства к существованию, мы, которые оказались волею судеб рядом с Абрамкиным, получили все: и средства, и идею, и вождя, который знал, куда надо идти, и за спину которого можно было, при случае, спрятаться.

Как я теперь думаю, это были, видимо, самые счастливые для меня годы. Когда были силы и было куда их приложить. Каждый день в Абрамкинском Центре «Содействие» «проживался» на 100 процентов. Такой наполненности я не испытывал никогда ни до, ни после. Каждый день как последний. Каждое утро мы (в той или иной степени, уверен, могу говорить здесь за всех) испытывали ощущение солдат перед битвой. И когда после утреннего затишья звонил телефон и в трубке раздавался голос Абрамкина, мы знали — это сигнал «к бою».

Валера умел создавать ощущение высшей степени напряженности вокруг всего, что он делал. Для нас, членов его группы, это, конечно, не была просто «работа» — у нас было четкое (хотя, на самом деле, не всегда четкое) ощущение великой миссии, и мы с каким-то лихорадочным восторгом ей отдавались.

Почему-то всегда все «горело» — времени не хватало ни на что, вечный цейтнот. Но тогда это казалось естественным, ведь и общественно – политически ситуация была революционная — на одну «реформу» накладывалась другая, и нам нужно было использовать открывшееся «окно возможностей», чтобы вставить туда свое слово, точнее «слово» Абрамкина.

Мне кажется, я тогда очутился в нужное время в нужном месте. Российский центр по правам человека (РИЦПЧ) на Лучниковом переулке, в здании бывшего ЦК ВЛКСМ,

был почти как Смольный во время восстания — полная мобилизация и неразбериха из-за того, что спрос превышал предложения: все бурлило и кипело, туда-сюда снова-ли взмыленные озабоченные сотрудники десятка правозащитных групп разных направлений, приходили — уходили, сидели — ждали в очередях ходатаи, пришедшие «за правдой» — к правозащитникам как в последнюю инстанцию. И воспринимали они нас скорее всего именно как ПРАВДОзащитников.

В общем, мы были нужны — бывшим зекам, обитателям улиц и вокзалов, всем «униженным и оскорбленным», их родственникам, матерям. Это наполняло гордостью, а жизнь — высоким смыслом. И мы старались как могли. Центр «содействия» оправдывал свое название — присказка «у Гааза нет отказа» про святого доктора Гааза, «ходатая по арестантским делам», бытовавшая в 19 веке среди заключенных — это про нас, тогдашних.

Центр выделялся и среди других организаций Российского центра по правам человека: и лидер был авторитетный, харизматичный, и его «группа поддержки» — «абрамкинцы» — отличалась своей сплоченностью и преданностью. Алексей Смирнов, директор РИЦПЧ в то время, помню, называл нас «банда Абрамкина». Среди нас, конечно, были бывшие сидельцы с двузначными сроками, но Алексей Олегович имел в виду особую сплоченность нашей разношерстной команды.

Мы действительно были как братство, «тюремное» братство — нами двигала идея «борьбы за права заключенных», и мы не жалели себя. От этого страдали семьи, дети. Но мы не могли остановиться. За одной задачей сразу же вырастала другая, не менее важная и срочная, точнее, их всегда было несколько, и все — неотложные. А Абрамкин всегда как «на передовой» — берет и дает интервью, пишет сценарии «Облаков», готовит документы к очередному (и, конечно, самому важному!) мероприятию, сочиняет законопроекты,

разговаривает с людьми, от которых что-то зависит или которые зависят от него — просят помощи... И, конечно, постоянно пишет... «Тексты», «тексты», «тексты» — Абрамкин писал и переписывал их, создавая бесчисленное количество вариантов одного и того же «документа». Сам он поражал нас тем, что помнил все эти варианты и чем они друг от друга отличаются. А мы постоянно путались, пытаюсь найти именно тот, который он просил (как всегда срочно).

Большинство из нас толком не понимали того, что он пишет, как не понимали и многих нюансов в пенитенциарном законодательстве и практике — носителем всех этих туманных для нас знаний был Абрамкин. Он был настолько выше всех во всем этом, что мы не могли для него быть достойными собеседниками, тем более оппонентами. Когда мы пытались вникнуть в суть, все оказывалось и простым, и сложным одновременно. Иногда трудно было понять — а чего собственно хочет Абрамкин? Вроде бы и так все там, «наверху», должны всё понимать. И даже «внизу», «на земле», подчас неплохие люди (менты) работают, и их надо понять, они не могут свое дело делать иначе в данном контексте, при тех задачах, которые они должны решать и при том законодательстве, какое есть. Что же мы хотим поменять, а главное «как?» Этого до конца так и не удалось понять.

Логiku Абрамкина вообще было сложно понять. И он многое не объяснял, не договаривал. Не то, что он специально пытался «создать впечатление», что ему доступна некая тайна, которую он не может нам доверить, поскольку мы до нее еще не доросли. В самом деле часто это были действительно сложные вещи. Да и некогда ему было заниматься просвещением сотрудников, а нам — самообразованием. Столько было текущих задач по обеспечению работы Центра, связанной с подготовкой разных материалов! Тогда ведь офисная техника — компьютеры, софт, ксероксы — факсы — все это было в новинку и требовало много

времени и внимания: не все могли с ней нормально управляться, а эксплуатировалась вся эта импортная роскошь «и в хвост, и в гриву», да еще и «по-русски».

Кроме того, рядом были и другие организации — жили мы тогда в РИЦПЧ практически одной большой семьей, и мы, члены Центра «Содействие», как могли всем «содействовали» — ведь мы были пропитаны духом тюремного братства, «правильными понятиями» — в том идеальном виде, в каком донес их до нас Абрамкин. Его как раз критиковали, в том числе бывшие политзэки, за то, что он слишком идеализировал «арестантов» и тюремную субкультуру. Хотя здесь, видимо, случилось недопонимание — простыми категориями Абрамкин практически не мыслил, и якобы простые и четкие формулировки часто оказывались такими многослойными «пирогоми» и требовали привязки к контексту. Поэтому сейчас, когда Валера уже не может помочь нам раскодировать свои, на первый взгляд, простые идеи, попытка их реконструкции оказывается почти неразрешимой задачей. В результате, он так и остается до конца непонятым и загадочным. И с ним рядом всегда было трудно, порой невозможно. Юра Чижов, его соавтор по книге «Как выжить в советской тюрьме», как-то в сердцах произнес: «Ну как можно работать рядом с Христом?!»

Последние годы жизни Валеры — это отдельная глава, «О преданности». В ней главные герои — «абрамкинцы», которые обеспечили ему достойный уход из жизни и продолжают его дело до сих пор. Особенный человек, каким был Абрамкин, сумел собрать вокруг себя и особенных людей.

Александр Седов

поэт, доктор биологических наук МГУ

Должен сказать, что меня не покидает чувство вины. Ведь я не был ни на похоронах Валеры, ни на предыдущих встречах, посвященных его памяти. Причины этого — мои болезни со сложными хирургическими операциями. Так что «алиби» как бы есть, но все равно очень досадно...

Сегодня здесь много фотографий Валеры, которых я не видел раньше. Разглядывая их, я понял, что Валерина улыбка, открытая, добрая, мягкая, чуточку смущенная, была у него всегда. Помню юбилей нашего свободного журнала «Поиски» в Сахаровском центре. Выступая там, Валера рассказывал, как, арестованный и осужденный за создание и издание «Поисков», он сидел сначала в камере смертников — то ли его хотели запугать этим, то ли и впрямь казнить, но так или иначе он был «полосатиком» и ждал своей гибели. И во время этого рассказа у него на губах тоже играла улыбка — веселая, ироничная, мягкая.

С Валерой я познакомился в августе 1976 года. Незадолго до того, в мае, на слете КСП впервые я прочитал, робея, несколько своих стихов толпе незнакомых слушателей. Мне мощно аплодировали, затем поэты, выступавшие на той же площадке, пригласили меня в ЛИТО при КСП. Мы — ЛИТО, человек 8–10 — собирались и читали свои стихи в комнате деревянного одноэтажного домика в Измайловском парке. В конце того же года это наше сообщество уничтожил КГБ. Дело было так. Один член ЛИТО весьма рьяно пытался вовлечь в традиционную правозащитную демонстрацию (5 декабря перед памятником А. С. Пушкину) всех хиппи, входивших в ЛИТО. И вот один из хиппи — то ли «засланец»-стукач, то ли просто дурак — решил «спасти наши души от диссидентства»: пошел в КГБ, донес на «совратителя», а на очередном собрании нам с гордостью об этом поведал (при этом сказав,

что ему там показывали наши фотографии со слетов КСП и расспрашивали о нас). Мы его с позором прогнали, и больше встреч в домике не было: из него выгнали всех нас. Мы стали встречаться в квартире.

Но это было потом. А в августе 76-го в домик пришел Валера, представился нам, поставил пленку на магнитофон и включил его. И вот мы слышали, как пела свои песни Вера Матвеева, незадолго до того умершая от саркомы. Эти волшебные песни, тогда нам еще не известные — дивные слова, мелодии, голос, гитарный аккомпанемент, — были созданы Верой и записаны во время ее страшной болезни, на пороге смерти. Они пронизаны удивительным жизнелюбием, духом весны и юности, добром, светом — и предвидением скорой кончины. Валера и его жена Катя очень дружили с Верой. Очень интересно Валера рассказал нам об истории КСП, начиная с его зарождения: про различные события в движении авторской песни, про интриги прессы и «верхушки» комсомола вокруг КСП... Так мы с Валерой познакомились и подружились.

Хочу подчеркнуть, что свободная песня, и стихи, и правозащитная деятельность для него были не альтернативными явлениями, а взаимосвязанными сферами творческой работы. О своём вкладе в них Валера говорил сдержанно: он был очень скромным. А о нем самом рассказывали, что ранее, студентом МХТИ им. Менделеева, он был там «звездой» — отличником и любимцем соучеников. Валера получил «красный диплом» и стал работать в «закрытом» институте — изучать трансурановые элементы. В заочной аспирантуре темой его диссертации была «Защита окружающей среды от загрязнения продуктами радиоактивных производств», примерно такая вот благородная экологическая тема. Но, поскольку он уже попал в поле зрения КГБ, его научная карьера была внезапно прервана. После одного из «воскресений» был звонок в институт, Валеру вызвали в Первый отдел и предложили уйти «по-тихому», шантажи-

ровали тем, что иначе уволят его научного руководителя. Конечно, Валера не мог этого допустить и сам ушел «по собственному желанию». С 1976 г. Валера возил передачи политзаключенным. Показывал он мне свои фотографии Сванетии, где работал в экспедиции, рассказывал о своих добровольных путешествиях в места, далеко не столь живописные; глубоко обдумывал и обсуждал проблемы личного выбора, свободы совести, ответственности за судьбы ближних. О Валере говорили нам тогда, что именно он — истинный вожак — был одним из вдохновителей и создателей КСП. А когда в КСП начались интриги «спецкоров» и «комсоргов», проявления властолюбия и конформизма и попытки цензуры, он отошёл от «основных вождей и масс» КСП и начал (не позже сентября 1976 г.) сам организовывать и проводить лесные слеты бардов, поэтов и художников «воскресенья». Посетителей на них бывало не очень много — каждый раз одна-две сотни, — а художественный уровень, на мой взгляд, выше, чем в среднем на больших слётах КСП. И никаких предварительных прослушиваний, конкурсов, амбиций, командиров... На «воскресеньях» пели некоторые лучшие барды нашего поколения. Выступал там и я, читал свои стихи. Там же, сразу после концертов, Валера и его друзья выступали с краткими рассказами о репрессиях и о правозащитной деятельности. Так что были основания опасаться незваных «гостей» с Лубянки. Возможно, поэтому «воскресенья» были мобильными: однодневными, без палаток и больших рюкзаков, по воскресеньям и лишь изредка в теплое время захватывали субботний вечер, ночь и следующий день. Материалы этих слётов легли в основу машинописного журнала «Воскресенье» — тоже детища Валеры. Я рад, что тогда принёс ему замечательные стихотворения Ильи Габая, педагога, поэта, диссидента с трагической судьбой, друга моих близких друзей, — несколько его стихов Валера поместил в этом журнале.

Валере очень нравился Даниил Хармс — и не просто нравился: Валера был настоящим литературоведом — «хармсистом». Он создал очень большую машинописную книгу сочинений Хармса, при этом решив сложную задачу: собрав самиздатские тексты, отделил Хармса от «псевдо-Хармса» — подражаний, иногда весьма удачных. Валера нашёл художника — иллюстратора, поместил несколько его чёрно-белых рисунков в эту книгу и пустил ее в «самиздат». Итак, Валера — еще и редактор, составитель и издатель первого собрания сочинений Хармса.

Летом 1976 года я напечатал на машинке свою первую книгу стихов «Слово», стал ее дарить и давать читать. Один экземпляр принес Валере. Осенью мы с ним шли из того домика в Измайлове, и он сказал, что некоторые мои стихи ему очень понравились и что он хочет делать новый большой журнал и их там напечатать — не возражаю ли я? Разумеется, я не возражал. Валера предупредил меня, что, возможно, такое участие в журнале будет иметь далеко идущие последствия. Я ответил, что, по моему мнению, любые стихи странствуют свободно — слушатели и читатели сами имеют право их оценивать и выбирать. Устно перед многими незнакомыми я выступал, стихи свои раздавал, они где-то «гуляли по рукам» и «плодились» на машинках читателей. А в том, что именно Валера сумеет создать отличный журнал и дать его широкому кругу умных читателей, я уверен. Поэтому несколько стихов из «Слова» он взял для 1-го номера журнала «Поиски».

И вот незабываемый вечер в квартире четы Сокирко в декабре 1979 года. Незадолго до того Валеру арестовали — первым из создателей «Поисков». Части «Поисков» ходили по рукам; говорили, что они опубликованы и где-то за рубежом. Нас там было человек 30, впервые я встретился с несколькими авторами и редакторами «Поисков». Стол украшал большой домашний пирог, на котором кремом было написано: «Свободу Абрамкину!» Мы ели куски пирога,

выслушали и обсудили письмо в защиту Валеры и подписались под ним, читали свои стихи. Мы понимали, что это письмо вряд ли поможет Валере, а нас за подписи могут ждать репрессии, как было с «подписантами» в защиту Синявского и Даниэля в 1965-м, Гинзбурга и Галанскова в 1967-м. Но подписаться под этим письмом было необходимо: как бы то ни было, надо было пытаться защитить Валеру. А время было мрачное. Несколько дней спустя я опять зашел к Сокирко, мы с ними слушали тревожные новости по «Голосу Америки»: советские войска вторглись в Афганистан. Вскоре после этого был сослан в Горький Андрей Дмитриевич Сахаров. Затем арестовали Витю Сокирко — тоже автора и создателя «Поисков».

Валера вышел из лагеря с тяжёлым туберкулезом, отсидев 6 лет — два срока; «чалился» и 3-й, но настала «перестройка», и диссидентов выпустили. Мы нередко общались у него и у меня дома, в его Центре содействия реформе уголовного правосудия (краткое название — «Тюрьма и воля»), на юбилеях «Поисков». И вот что поражает: как правило, бывшие заключенные стараются не погружаться в тяжелые воспоминания о тюрьмах, этапах и лагерях. Несколько «отмотавших срока» поэтов и писателей (А. Солженицын, В. Шаламов, А. Жигулин) и бардов (М. Круг, Г. Молчанов) смогли сделать свои воспоминания темами для творчества. Немногочисленные «авторитеты», выйдя на волю, иногда «пасут» «по понятиям» те или иные тюрьмы и лагеря — «держат общак». А Валера покинул эти узилища лишь телом: душою и разумом он всегда оставался со всеми теми, кто был в неволе и нуждался в помощи. В начале «перестройки» Валера создал и возглавил названный выше общественный Центр. Он отвечал на массу писем заключенных, арестованных по самым различным статьям УК, а также их родных и близких, считая, что за что бы ни сидел тот или иной «зэк», если ему очень плохо, то участь его надо облегчить. Валера консультировал, давал советы,

брал интервью, изучал и составлял документы, беседовал и спорил с юристами, лично инспектировал тюрьмы и лагеря. А ведь при этом ему приходилось много общаться с коллегами своих недавних мучителей — с прокурорами, судьями, «кумами», «вохрой»: по форме — дипломатично и миролюбиво, по сути — настойчиво и бескомпромиссно. Судя по его рассказам, даже в других странах (в 1990-х Валера ездил в США и во Францию) он почти все время проводил не в развлечениях или среди красот природы, шедевров архитектуры и памятников истории и культуры, а за решетками зарубежных тюрем — в качестве уважаемого гостя, инспектора — правозащитника и исследователя «без границ».

Глубоко и многосторонне изучая жизнь узников в отечественных лагерях и тюрьмах, Валера и его коллектив создали и издали несколько томов со статьями (2 тома я читал). Издана, и для многих узников стала «путеводной звездой» написанная Валерой книга «Как выжить в советской тюрьме. (В помощь узнику)». Ее разделы содержат важные советы и рекомендации, юридические, тактические, психологические, религиозные, гигиенические и медицинские. В медико-гигиеническом разделе, с черно-белыми иллюстрациями, описаны собранные заключенными, включая самого автора, приемы физической самоподдержки и самолечения в условиях камер. Увы, от души надписанный и подаренный мне автором экземпляр той книги у меня «зачитали».

В конце 1991 года сразу в нескольких лагерях России (помоему, их было около десятка) вспыхнули восстания заключенных — статьи об этом появились тогда даже в центральных газетах. Эти восстания были безжалостно подавлены. Так, на территорию самой непокорной зоны — П-52 — вошли танки, вохровцы стреляли в восставших, многих ранили. В газете писали, что вождь восстания на П-52 по кличке «Китаец» ранен, помещен в лагерную

больничку и жизнь его вне опасности. Валера поехал туда с двумя своими ассистентами – сотрудниками (молодой дамой и молодым человеком), с магнитофоном, фотоаппаратом и видеокамерой. Вернувшись, он пригласил меня на встречу в каком-то клубе, где рассказывал и об этой поездке; там же были оба его спутника. За столиком клубного буфета дама вдруг дала мне свой номер телефона и с гордостью показала фотографии с П-52. На одной из них крупным планом позировала она сама — изогнувшись и улыбаясь, в кителе с погонами и фуражке с кокардой, с автоматом на груди... Да, дама явно «повелась» на «преlestи» вохровских офицеров! Возможно, в ее задачи входило интервьюировать именно «вохру», однако... Молодой человек показался мне гораздо симпатичней: он работал «на другой стороне баррикад» — прошел в жилую зону, снял видеофильм, вдумчиво говорил с заключенными. Из клуба мы шли с ним вдвоем по улице; я спросил, как поживает Китаец. Он ответил, что дни Китайца сочтены. Я возразил, сославшись на упомянутую выше статью в газете. Но он сказал, что на сходке заключенные постановили убить Китайца, когда тот выйдет из больнички. Я спросил: «За что?» Оказалось, что, когда на П-52 вошли танки, Китаец где-то скрывался, но, по неписаным законам лагерной чести, раз уж он возглавил восставших, то и место его было во главе их, буквально впереди, лицом к танкам. Я уверен, что Валера на месте Китайца стоял бы именно там.

Вскоре после той встречи я был в гостях у Валеры с Катей и смотрел видеофильм, снятый в П-52. Этот «пейзаж после битвы» потрясал. Вот здание с окнами; перед ним, ниже его, ограждение высотой в несколько метров, по верхнему краю которого спираль Бруно, а на ее витках в ряд лежат с десятков щитов из досок. Прижав их к своим телам, заключенные отчаянно прыгали с высоты из окон на спираль, чтобы, защитившись щитами от ее шипов, спрыгнуть

вновь — на волю... А вот «оружейный склад» повстанцев — куча арматурных прутьев. Это даже не заточки, затачивать их было некогда и негде. Мы сделали звук к фильму — аудиозапись: по ходу действия Валера давал пояснения, а я устно переводил их на английский язык.

По Валериному приглашению я посетил две организованные им выставки. Одна из них проходила в холле гостиницы «Славянская» — о болезнях в тюрьмах и лагерях, в основном о тяжелой ситуации с туберкулезом. Другая, в 1998 г., в здании Политехнического музея, в зале с ближайшим к Ильинке входом, «Человек и тюрьма», о творчестве заключенных; по-моему, на ней было более сотни разнообразных экспонатов — изделий, созданных за решеткой. Тогда Валера нередко выступал, рассказывая о тюрьмах и лагерях по радио и телевидению. Как-то в театре песни «Перекресток» (детище нашего общего друга, гениального барда Вити Луфферова, увы, тоже покойного) Валера выступил с большой лекцией о своих исследованиях и показал видеофильмы — свои интервью с несколькими заключенными в лагерях. Вот она — магия обаяния и деяний Валеры: эти люди словно оттаивали, настежь раскрывали души — ему и нам, лицо в лицо. Помню одну бабульку — «зэчку», трогательную до слез. Ей было около 70 лет, из которых 52 (!) она просидела в неволе: еще девочкой по глупости взяла у подружки кошелек с мелочью — и попала на «малолетку». (А как же, «воровка»!) И пошло-поехало... Жить на воле она абсолютно не умела — и потому, освобождаясь, как правило, сразу что-нибудь крала в магазинах так, чтобы поскорее попасться и снова сесть за привычные решетки и «ключки». И вот она отвечала Валере на его вопросы, пела ему какие-то простенькие песенки собственного сочинения, рассуждала «о том о сем», что-то пророчила... Рассказал Валера и об ужасных условиях в Бутырской тюрьме, показал фотографии. Чудовищно многолюдные камеры были переполнены настолько, что на шконках спали в 3 смены.

Один заключенный потянул на своей руке кожу — и она слезла: так высока была в воздухе камеры концентрация паров пота с тел и мочи из параша. Поражали и полученные Валерой цифры: в России тогда сидел в неволе каждый 100-й гражданин, каждый 40-й трудоспособный мужчина...

Как-то на Никольской, близ метро «Площадь революции», за стеклом магазинной витрины, лицом к храму, появился огромный портрет стриженного наголо В. Аб-рамкина — увеличенная фотография из его собственного «дела». Под нею лежали металлическая ложка, еще несколько предметов тюремно-лагерного быта и текст о том, кто он, и что это его личные вещи. В гостях у Валеры я рассказал ему об этой чудо-экспозиции. «Знаю, очень тронут, — рассмехался он. — А вот вещи-то там не мои!..»

Вместе со своим сыном Аликом Валера очень помог мне с набором и версткой второй моей книги стихов «Второе слово» в 1994-95 годах.

Как-то я пригласил к себе в гости Валеру и замечательного барда Гену Молчанова. До «перестройки» Гена почти 10 лет провел в тюрьмах и лагерях (о которых в основном сочинял и пел песни, аккомпанируя на гитаре) — сначала за попытки, вопреки корыстным действиям милиции, погасить конфликт между молодежными группами в его родном Орске, затем — за «неподчинение властям» и «нарушение паспортного режима». Я познакомил их друг с другом, и с легкой руки Валеры Гена выступал по радио в программе «Облака» (в которую Валера тоже вложил немало сил и души) и работал в телецентре в Останкине. Еще до той встречи Гена написал глубокую работу о тюремных и лагерных песнях, отделив их от «блатной лирики». И вот на эту тему он создал фильм, который был показан по телевидению. В 1997 г. мы с Геной славно выстроили наш авторский диалог-концерт и удачно выступили с ним в «Мемориале» и в Сахаровском центре...

Валера всегда словно излучал свет и тепло души. Никаких признаков экзальтации, пафоса, драматизма. И при этом всегда — с самого начала нашего знакомства — я чувствовал, что ради духовной и физической свободы других он готов спокойно пожертвовать собой. Это был Высокий Путь: он возил передачи заключенным, собирал и издавал светоносные тексты, светоносные песни, давал им дорогу к людям, которых объединял и воодушевлял, помогал многим страдавшим узникам, постоянно нес и творил добро. Сотрудники Валеры несравненно лучше, чем это здесь сделал я, могут поведать о той многолетней и многоплановой работе по изучению и мерам облегчения участи заключенных, которую Валера вел после своего освобождения, и об ее плодах. Валера был дивным человеком, чудом. Считаю, что воистину — без кавычек — он был святым и вполне достоин канонизации. Светлая память!..

Хочется еще немного рассказать о журнале «Поиски». В первом его номере, в литературном разделе, моим стихотворениям выпала честь быть в замечательной «компаниии» со стихотворениями Б.Чичибабина и прозой Ю. Домбровского. Этот журнал был воистину большим (зарубежный №1, с плотной брошюровкой, имеет формат обычной книги и толщину около 3 см), и ему было присуще такое же органичное единство, как «воскресеньям»: наряду с литературным разделом есть разделы философский, историко-социальный, правозащитный (впрочем, состав этих разделов гораздо больше, чем было на «воскресеньях»). Это был журнал тех и для тех, кто говорил, писал и хотел читать на русском языке о самых жгучих проблемах души и общества. Название «Поиски» (полностью — «Поиски взаимопонимания») означало готовность редакторов к свободным дискуссиям на его страницах. Ведь журнал был открыт для публикаций самых различных взглядов и позиций, в том числе взаимно исключающих; не рассматривались лишь тексты сексопатологические, бранные, ксено-

фобские, шовинистические, фашистские (этически неприемлемые для сообщества редакторов), а также «идейные» коммунистические (ими и так была обильна многотиражная советская пресса). Журнал был издан и по эту, и по ту сторону «железного занавеса» — соответственно «самиздатом» и издательством «Детинец» в Нью-Йорке. Злоба власти на создателей-редакторов «Поисков» — многочисленные обыски с конфискациями, аресты, несправедные суды и приговоры, тяжелые условия в тюрьмах и лагерях, шантаж и попытки запугать родных и близких, клевета в печати — была особенной. Ведь в этом журнале русскоязычные мысли, рожденные в СССР, но свободные от советских идеологических догм и цензурных «норм», впервые вышли далеко за границы своей страны «с такою чудной силой» — в таком количестве и разнообразии взглядов, тем, жанров, стилей. И за это тоже спасибо Валере Абрамкину, щедро отдавшему всю свою жизнь и узникам пенитенциарных систем в нашей стране и в мире, и тем, чьи дух и слово здесь были честными и свободными.

Михаил Занадворов

поэт, прозаик, драматург, переводчик, правозащитник

Наверное, мои воспоминания о Валерии Абрамкине будут в чем-то разрозненными, многие области его деятельности я знал гораздо меньше других, но, надеюсь, вместе с воспоминаниями других участников сборника они составят сложный, многосторонний портрет такого удивительного человека, каким был Валерий Абрамкин.

При поверхностном взгляде многим кажется, что диссиденты подобны религиозным фанатикам в своей борьбе, скажем, за идею прав человека, свободы личности и т. д. Я убежден, что это не так, а уж в отношении Валеры это абсолютно неприменимо. Мы с Валерой познакомились

еще во время его КСП-шного увлечения авторской песней, стихами замечательных русских поэтов – обэриутов... Его интересы вообще были очень широкими. И поэтому мне как-то странно даже слышать, что он человек одной идеи. Он не оставался и после лагеря человеком одной идеи... Но действительно тюрьма, лагерь его очень сильно изменили в том смысле, что он стал невероятно целеустремленным в том, чтобы спасти людей, чтобы помочь несчастным арестантам, и мечтал, что не станет страшной системы ГУЛАГа... Валера не любил слово «зэки» — говорил: «арестанты».

Хочется вспомнить о том, как мы, собственно, познакомились. Помню, это было летом 1977-го, когда состоялся у нас такой «квартирник», где читали стихи я — псевдоним мой был Михаил Дворский, — Саша Седов, кто-то пел под гитару. Была совершенно пустая квартира, никакой мебели, люди сидели на полу, стихи звучали почему-то особенно волнующе в тот день. Нас с Сашей Седовым попросили остаться и дожидаться Валеру Абрамкина с Катей.

И вот они с Катей возвращаются из похода с огромными рюкзаками, со смехом рассказывают о своих приключениях в дороге, о том, как они по лесам бродили, нарочно с утра пораньше ушли, чтобы не голосовать — поскольку Валера никогда на выборы не ходил, как и многие из нас. Я тоже старался не ходить. Возникло сразу, помню, такое чувство, что мы «одной группы крови». И, несмотря на их усталость от путешествия, тут же мы начали общаться, друг другу стихи читать. Конечно, сразу нас сблизила любовь к стихам больших русских поэтов, к Галичу, к бардовской песне. Первые месяцы знакомства мы виделись в основном на квартирниках, на вечерах Петра Старчика — в те времена очень известного в диссидентской среде барда, композитора, автора песен на стихи Цветаевой, Волошина, Мандельштама.

Осенью того же года Валера позвал меня на свой литературный вечер, собралась небольшая компания, человек 10-12. Он прочитал два своих рассказа, а потом сказал: «А вот сейчас будет рассказ Даниила Хармса». Меня поразило и сам рассказ, этот веселый хармсовский абсурдизм, и манера исполнения: Валера читал виртуозно — настоящий спектакль! На этом квартирнике я заметил его особенность: внезапные переходы от веселого смеха, там было много смешного, к задумчивости и даже грусти. Думаю, уже тогда он понимал траекторию своей судьбы — советская система не терпела таких ярких, непокорных людей. Уже в конце вечера Валера начал рассказывать о Хармсе, об обэриутах, их образе жизни очень интересные вещи. Я тогда о Хармсе, вообще об авангарде 20-х годов, почти ничего не знал, это была в Советском Союзе запретная тема — ни публикаций, ни исследований, совершенно ничего!

А вот у Валеры было такое свойство, что если он за что-то брался, то очень основательно. И обэриутами, особенно его любимым Хармсом, он занимался почти на профессиональном филологическом уровне. Рассказы и стихи Хармса он добывал какими-то неведомыми путями, конечно, не имея доступа к архивам. С помощью своих друзей отыскал в Ленинграде и Москве несколько друзей и знакомых Хармса, у которых чудом сохранилась какая-то часть его архива. Удалось даже через «инкоров» передать рукописи Хармса на Запад, и в начале 80-х годов вышло первое издание Даниила Хармса в Голландии, потом уже издания обэриутов под редакцией исследователей — филологов на основе архива Харджиева и пр. Валера старался отделить подлинного Хармса от «лже-Хармса», много таких подделок, очень талантливых, ходило в те годы в самиздате.

Теперь хотелось бы рассказать немного о журнале «Поиски». О журнале, я думаю, гораздо подробнее расскажет Саша Седов в своих воспоминаниях. Я узнал о журнале еще

на стадии замысла его создания от Петра Старчика, к тому времени я уже был знаком с несколькими будущими редакторами «Поисков»: Абрамкиным, Володей Гершуни, Виктором Сорокиным и его милой женой Соней. Конечно, идея такого свободного журнала, где не было бы не то что внешней, но и «внутренней» редакторской цензуры, где велась бы ничем не ограниченная дискуссия с самых разных точек зрения на социальные, экономические, политические темы, мне была глубоко симпатична, и я очень хотел участвовать в таком издании. И вот однажды, кажется, это было в декабре 77-го или январе 78-го, я был на мандельштамовском вечере Петра Старчика, тогда в первый раз он представил очень большую программу, посвященную Осипу Мандельштаму. На вечере, как обычно, была толпа, люди даже стояли в проходах, но часам к одиннадцати остались несколько близких друзей, среди них Валера. И когда возник разговор о журнале — там были еще, по-моему, Гершуни, Пинхос Подрабинек, Виктор Сорокин с Соней, еще три-четыре человека, — заговорили уже конкретно о будущем первом номере «Поисков». Я сразу сказал: «Ну, вы все знаете мои стихи, думаю, они вполне подойдут для журнала». Абрамкин сказал: «Конечно, но стихов у нас уже много, давай приноси, мы возьмем в следующие номера». (К сожалению, не знаю почему, но в журнале они так и не появились.) И я увлеченно так говорю: «Я тоже хочу быть сотрудником журнала, хочу участвовать». Конечно, риск я понимал, но меня какая-то волна несла. И вот Валера мягко так говорит: «Знаешь, а ты лучше оставайся поэтом. Лучше не надо тебе заниматься рутинной. Работай и так далее». Хотя это никакая не рутина, это творческое было дело. Но у него, я так понял, было бережное отношение к друзьям. И если бы я в это влез, то меня, может быть, посадили бы первым — скорее всего, так и случилось бы. Тем более что в общежитии очень сложно что-то спрятать, если работать над материалами, рукописью

(я тогда жил в общежитии, был аспирантом, откуда меня изгнали уже на пороге диссертации).

Чаще всего я замечал у Валеры, даже в тяжелых обстоятельствах, веселую улыбку. Даже когда я его на улице встретил, в октябре 78-го, когда его уже вызывали в прокуратуру, уже прошли обыски и прочее, он так весело, бесшабашно сказал: «Иду в прокуратуру, вызывают по поводу журнала».

В декабре 79-го Валерия первым из редакторов «Поисков» арестовали — ГБ выполнил свою угрозу арестовать Абрамкина, если выпуск журнала продолжится. Перед новым, 1980, годом был незабываемый вечер у Виктора Сокирко, главной темой которого стала защита Валеры Абрамкина. Собрались 25–30 человек, мы читали стихи, потом прочитали письмо, составленное редакцией в защиту Абрамкина, и многие его подписывали, хотя шансов, что это как-то может повлиять на ситуацию, было немного. Тогда, в декабре – январе, прошли несколько таких вечеров в диссидентской среде, у Старчиков тоже был вечер. А потом уже, почти через год, был суд, такой же позорный, как все суды над диссидентами. Это было в октябре 80-го, уже в самый разгар «олимпийских» репрессий, если кто помнит. В здание суда нас не пускали, конечно, мы толпились на Каланчевке, где проходил суд в здании Мосгорсуда. Выходили свидетели защиты, люди их окружали, они торопливо рассказывали о своих наблюдениях, милиция отгоняла всех подальше... К сожалению, я не мог прийти на второй день суда, когда было последнее слово, когда зачитали приговор и друзья кричали вслед автозаку: «Валера! Валера!» — потом он написал в письме, что ему удалось услышать...

Потом был 81-й год, тогда начался уже апогей репрессий. Полный разгром демдвижения и в Москве, и по всей стране. КГБ уже захватывал власть в Совке. В конце 81-го Абрамкину удалось передать на волю письмо, и там он

писал о том, что ему шьют второй срок, якобы «за антисоветскую агитацию» среди зэков. И Катя Абрамкина, его жена, и друзья, прежде всего Петр Старчик, стали проводить квартирники в Валерину поддержку. На вечерах звучали, конечно, песни. Я был на вечерах в доме Старчиков, куда пришли человек 50, наверное; в квартире барда Александра Российского тоже было много людей. Выступали Бережков и Алик Мирзоян, конечно, Петр Старчик, Катя Гайдамачук-Абрамкина пела чудесно — и на стихи Валеры тоже. Саша Седов, еще несколько поэтов и я читали стихи. Читали и подписывали письмо в защиту Абрамкина и других политзэков, потом это письмо было в «ХТС», звучало по радиоголосам, тогда уже малодоступным. Да, сделать ничего не удалось, но все это было очень настоящее! Реально был второй срок, еще более тяжелый, туберкулез в лагере, угрозы убийства от администрации, шантаж оперов и многое другое.

Потом прошли несколько лет после лагеря и ссылки. Встретились мы уже в 91 году, в самый разгар «перестройки». И был один случай, когда Абрамкин, сам в тяжелой ситуации (обострился заработанный в лагере туберкулез), пришел на помощь сложному человеку, моему другу, попавшему в большую беду. Эта история необычная, но характерная для того странного времени.

У меня был друг Игорь Калугин, поэт, переводчик, человек, близкий демократическому движению. Его очень многое связывало с Литвой. Он был католиком, его духовным отцом был знаменитый священник Станислав Добровольский, сталинский политзэк, замечательный пастырь. Игорь в Литве часто бывал, очень переживал, когда происходили все эти события: Литва объявила независимость в 90-м, потом Горбачев устроил экономическую блокаду Литвы, угрозы с российской стороны... И вот, находясь в маниакальном состоянии, Игорь Калугин, повинуясь внезапному порыву, угоняет в Литву самолет, летевший в Петербург,

чтобы сделать заявление о положении в Литве и привлечь к ней внимание всего мира. Игорю это удалось, потому что он заявил, что у него якобы бомба, и экипаж перепугался. В общем, самолет прилетел в Вильнюс, это был 90-й год, аэропорт охраняли войска КГБ, Игоря, конечно, арестовали, потом отправили в Москву. Год тянулось следствие, Игоря отправили в институт Сербского — он и без того стоял на учете в ПНД. Я давно с ним не общался, ничего о нем не знал. И в декабре 91-го в панике мне звонит жена Игоря, Татьяна Врубель, и рыдая, говорит, что есть решение о принудительной госпитализации Игоря в спецпсихбольницу. Страшная психтюрьма, Казанская, многие политзеки ее прошли. У Татьяны нет никаких знакомств. Я тогда тоже со всеми растерял связи, был только телефон Валерия. Звоню, Катя рассказывает, что Валера в туберкулезной больнице, рецидив туберкулеза, чувствует себя неважно. Тогда я поехал к ней, рассказывать, что случилось, и Катя сказала: «Ладно, попытайся к нему пройти, но учти — не пускают. Вот тебе белый халат». Я в это время написал письмо в защиту Игоря Калугина для «Независимой газеты», тогда очень прогрессивной, но очень нужны были подписи авторитетных людей, депутатов, правозащитников.

Через черный ход я чудом проник на четвертый этаж больницы на Стромынке, тихий час, никто меня не видел. Один больной, знавший Валеру, согласился вызвать его в коридор. Абрамкин вышел ко мне, худой, бледный, без сил ... Я коротко объяснил, что надо спасти человека. Валера говорит: «Времени мало, давай поскорее письмо». Быстро прочитал его, за 15 минут внес поправки, поставил свою подпись и еще дал телефон, по-моему, депутата Валерия Борцова и посоветовал пойти к Юрию Савенко. Вот такая история — оперативно вмешался в ситуацию и, наверное, сыграл решающую роль. Письмо вскоре было напечатано, подоспело еще письмо нескольких писателей, власть как-то менялась — и в результате стационарное лечение заме-

нили на амбулаторное, потом Игорь говорил, что Валерий ему жизнь спас. И я уверен, таких историй было много, может быть, не таких заковыристых, но тоже драматичных, когда Валерий быстро приходил на помощь.

Потом несколько лет мы не виделись, жизнь меня закрутила, надо было выживать, времени совсем не оставалось... В 90-е годы мы с Валерой виделись эпизодически: на замечательной выставке «Человек и тюрьма» — она в 98-м году проходила в Политехническом музее, потом еще в других местах Москвы, потом усилиями абрамкинского Центра помощи заключенным проводилась в нескольких провинциальных городах России. Эти поистине героические усилия, многолетняя борьба помогли все-таки улучшить положение подследственных в московских тюрьмах, особенно в Бутырке, где в безумно жаркое лето 98-го люди задыхались в камерах в буквальном смысле слова! Конечно, о помощи зэка в лагерях гораздо полнее могут рассказывать сотрудницы Валерия (сначала его Центр назывался емко и точно — «Тюрьма и воля», потом, в середине 90-х, появилось такое официальное, труднопроизносимое название «Центр содействия реформе уголовного правосудия».

Я хочу еще рассказать о том периоде в 2005–2006 году, когда Валера еще чувствовал себя не так плохо и очень много занимался еще и другими проектами. В сентябре – октябре 2005 года он позвонил мне и привлек к серьезной работе над подготовкой вечера памяти Виктора Некипелова, легендарного человека, диссидента, члена Хельсинкской группы в Москве, замечательного поэта. Это был его юбилей, 70-летие. Наверное, поскольку Валера ценил меня в качестве поэта, я в основном занимался отбором стихов Некипелова и добыванием самых лучших записей песен Петра Старчика на стихи Некипелова (знаменитая «Владимирская прогулочная», «Передача» и другие). Вечер был в помещении «Мемориала», еще в старом здании в Карет-

ном переулке. Целью этого вечера была и презентация книги Виктора Некипелова «Институт дураков» — о его пребывании в 72-м году на экспертизе в институте Сербского, учреждении, где инакомыслящих «превращали» в шизофреников. Конечно, в книжных магазинах такой книги не найти, но в Интернете можно попробовать. Вечер был необычайно интересным, на него пришли многие друзья Некипелова, старые диссиденты, тогда они все были живы: Леонард Терновский, Феликс Серебров, Александр Лавут, Сусанна Печура, многие другие... Зал был переполнен. На этом вечере мне удалось познакомиться с Наташей Горбаневской.

В дни работы над подготовкой вечера памяти Некипелова мы много говорили не только о его личности, его тюремных стихах, воспоминаниях, но и о тюремном опыте, лагерных переживаниях самого Валеры. У него в эти дни появилась потребность, наверное, раскрыться больше, чем обычно, хотя и раньше он не скрывал многих своих лагерных эпизодов. Была, например, поразительная история, когда он чудом избежал гибели (несколько уголовников, видимо, подученных опером лагеря, вроде бы нечаянно обрушили на него огромный камень, Валерий едва-едва успел отскочить, отделавшись «легкими» травмами). Абрамкин считал, что в условиях ГУЛАГа тюрьма, лагерь деформируют, уродуют личность даже самого сильного человека — каковым он сам, безусловно, и являлся, потому что этот груз переживаний стоически нес в себе до конца.

Последние годы, как все знают, Валерий очень тяжело болел, общение с ним было затруднено, но все равно корю себя, что не навещал его.

Спасибо судьбе (точнее, Богу), что мне довелось быть другом этого замечательного человека — Валерия Абрамкина.

Елена Санникова

правозащитник, сотрудница архива правозащитного центра «Мемориал», эксперт движения «За права человека»)

Я не думаю, что помощь заключенным была для Валерия способом изживания тюремного опыта. Он просто был таким человеком, что, выйдя из заключения, не мог бросить тех, кто там остался.

Надо сказать, что часто люди, выйдя из заключения, пытаются не думать о том, что же происходит там сейчас. Не забывая своего опыта неволи и тех, с кем он познакомился, сдружился там, за колючей проволокой, человек уже не думает, как правило, о новом поколении заключенных. А если и думает, то не настолько, чтобы это становилось основой того, чем он теперь живет.

Тюремный опыт меняет человека. И, как правило, не в сторону сохранения активной жизненной позиции.

Недавно я пыталась по Интернету найти имена людей, которые в 60-70-е годы сидели в политлагерях. И, оказывается, очень мало кто из них в Интернете вообще проявился. Исключения, конечно же, есть, их немало, но это на самом деле единичные имена — я говорю о политзаключенных. Людей, которые интересуются нынешними заключенными или хотя бы тем, что же непосредственно происходит сейчас в тех зонах, где сами они сидели, таких людей мало.

Это, возможно, естественный процесс. Возьмем самых известных людей. Владимир Буковский, выдворенный на Запад прямо из тюремной камеры, занялся биологией, наукой. Его арестовали, не дав доучиться, — естественно, оказавшись на свободе, он завершил свое образование и сделал научную карьеру. Юрий Орлов, основатель Хельсинкской группы, профессор, после длительного (и очень тяжелого) срока заключения занялся наукой, оставив тему прав человека пришедшим ему на смену. На этом фоне исключением

является судьба Кронида Любарского, ученого астрофизика, который, оказавшись на Западе после пяти лет тюрем и лагерей, не смог заниматься наукой, которой он жил до ареста, несмотря на прекрасные к тому возможности. И даже не собственные воспоминания о неволе, не общение с бывшими союзниками стало основой его существования — а участь тех, кто находится в тюрьмах и лагерях сейчас и сегодня. Он составлял списки политзаключенных, регулярно их обновлял, постоянно говорил о политзаключенных в эфире, выпускал два раза в месяц бюллетень «Вести из СССР».

Валерий Абрамкин — второй подобный пример.

Говорить на тему сегодняшнего ГУЛАГа можно по-разному. Но Валерий Абрамкин, как и Кронид Любарский, умел говорить об этом, что это звучало так, что в ярком свете предстало взору окружающих, то есть, выйдя на волю, Валера не мог бросить тех, кто там остался...

Я несколько раз участвовала в подготовке радиопередачи «Облака» вместе с Валерием. Потом он просил меня сделать несколько передач, пока он готовил большую конференцию, это было в 1992 году. И я увидела тогда, какой Валерий замечательный организатор. Я и до этого наблюдала его в этом качестве, еще со времен КСП, но тогда я издалека это видела, а тут увидела близко, воочию.

Не забыть улыбку Валерия. Он говорил, улыбаясь, глаза его светились, даже когда речь шла о чем-то грустном. Это был какой-то внутренний свет. Не то чтобы оптимизм, а скорее какая-то радость бытия, радость от общения с людьми, от того, что делаешь, чем занимаешься. И с этой радостью ему как-то все удавалось. Удавалось создать большую организацию, провести большую конференцию, организовать радиопередачу «Облака», до сих пор существующую. Помню, первый раз, когда он меня в Останкино привез, два-три слова — и я поняла, как и что нужно делать. Как-то он блестяще умел и объяснить, и ор-

ганизовать людей. Вспомним хотя бы ту международную конференцию, которая проходила под Москвой, в Петрово-Дальнем осенью 1992 года. Все-таки политзаключенные, как правило, говорят о политзаключенных. Другие заключенные — бытовики, уголовники, которые встречаются нам на пересылках, на этапах, а иные из политэков, которым статья 190 «прим» доставалась, как Валерию, те и весь срок отбывали в их среде, — как правило, ими воспринимаются как чуждая среда, о которой хочется забыть. Но вот Валерий один из очень немногих почувствовал этих людей как братьев. И он об этом говорил, что они ему свои, родные. Не потому, что ему хоть сколько-нибудь близка была тюремная романтика, блатная идеология... Нет, это ему было чуждо, а вот сами люди... Он их воспринимал как детей. Ну, вот, попали они туда, ну так вот живут, и нужно их принимать такими, какие они есть, и попытаться вытащить их из этого состояния... Спуститься в тюремный ад для того, чтобы понять, прочувствовать людей, увидеть в каждом из них что-то светлое. Валерий к вере пришел, это естественно, и потому свет Христов он видел в каждом человеке. Просто удивительным образом сошлись его организаторские способности с этой темой. И он много сделал. Он спас многих людей. Не только помог срок сократить, в лучшие условия перевести — главное, он на людей духовно, нравственно повлиял.

Помню, в 90-е годы я еду в электричке, и входит в вагон бывший бытовик, такой типичный зэчара, явно отсидевший, но снова сесть не желающий, и несет вот эти книжечки, изданные Абрамкиным — «Как выжить в советской тюрьме». Он рекламирует их, рассказывает что-то и произносит: «Вот сам Валерий Абрамкин говорит... Сам Валерий Абрамкин!» И он убежден, что сочетание слов «сам Валерий Абрамкин» для пассажиров электрички все уже говорит и ничего тут добавлять не нужно.

Я помню, на одном «круглом столе» в Сахаровском цен-

тре спор возник: можно ли говорить с представителем власти, нельзя ли говорить, можно ли входить в какие-то президентские советы или это бесполезно, бессмысленно... А Валерий, по-моему, ни к кому не мог относиться враждебно. Даже к тем, кто говорит и делает то, что ему глубоко отвратительно. И он сказал примерно такую фразу: «За себя просить о чем-либо у представителя власти противно и недопустимо, но для того, чтобы спасти кого-то другого, не стыдно и на колени встать перед последним подонком».

Удивительное сочетание безграничной доброты с волей и твердостью человека действия.

Хочется еще сказать о том, как Валерий воспринимал поэзию, он и сам ведь был хорошим поэтом.

Я только что этот сборник пролистала, здесь есть стихотворения Валерия Абрамкина. И это — та его сторона, которой сегодня мы еще не отметили. Он писал отличные стихи, но никак этого не афишировал, был настолько скромным поэтом, каких не бывает, — поэтому мы и не говорим о нем как о поэте, а это неправильно. Хорошо, что здесь одно стихотворение опубликовано, но нужно и другие стихи печатать. Валера хорошо писал, но он настолько тонко чувствовал поэзию, испытывал такое благоговение перед творчеством тех, кем восхищается, что сам оставался в тени. Он скорее о другом поэте написал бы, выдвинул бы кого-нибудь из молодых, поскольку скромность была его исконным свойством. Но мы не должны поддаваться этому, и нам надо помнить о нем и как о поэте, и как об очень чутком и тонком ценителе поэзии.

Татьяна Щур

учитель, руководитель правозащитной организации,
член ОНК Челябинской области

ЛИЦО НА ОБЛОЖКЕ

1994 год. Закрытый город Снежинск. Декабрь, но тепло. Иду из школы, где со мной расторгли договор под предлогом того, что никто из детей не записался в театральный коллектив, которым я руководила. Я этому не поверила и правильно сделала, так как на пороге школы меня догнали двое моих артисток и запричитали: «Ой, как жалко, Татьяна Михайловна, что у вас нет времени с нами заниматься!»

Что ж, еще минус в бюджет, в список приятелей и друзей... С тех пор, как арестовали мужа, эти минусы прибавляются с завидным постоянством.

Но есть и хорошее в этом дне: перед универмагом выставлены книжные лотки. С «перестройкой» стали появляться книги. Такие, каких раньше не было. Бросилось в глаза название: «Как выжить в советской тюрьме». Это для нас...Тонкая, дешевая обложка, рассыпающийся переплет. На обороте — фото мрачного человека с черной бородой. Вот он какой — Валерий Абрамкин. Вот так достянулись его советы через годы из советской в новую, российскую, тюрьму.

Передаю книжку в СИЗО с очередной передачей. Контролер Света с сомнением вертит ее в руках... Но забирает. Книга отправляется в свой неблизкий путь. Через полгода она вернется, пропитанная неистребимым тюремным запахом, прошитая суровыми нитками. Абрамкин так же мрачно смотрит с потрепанного переплёта: что он увидел там? Что еще увидит, когда его книгу будут передавать в сегодняшние застенки?

Николай Щур

руководитель Уральской правозащитной группы,
член ОНК Челябинской области,

МОИ ВСТРЕЧИ С АБРАМКИНЫМ

В 1993-м году, как тогда казалось — на заре демократии, я возглавил государственный внебюджетный экологический фонд закрытого города Снежинска — одного из двух «ядерных щитов Родины» (ещё один в Сарове), то есть города, в котором физики – ядерщики изобретают всевозможное атомное оружие.

Снежинск — это дитя НКВД, город, где Берию хорошо помнят и любят. Но тогда, в начале 90-х, казалось, начинается новая, свободная жизнь без страха в этом оплоте позднего ГУЛАГа.

И мне, и моим товарищам по фонду хотелось работать, хотелось доподлинно узнать состояние окружающей среды, в которой живем мы и наши дети, — ведь все данные о загрязнении воды, почвы и воздуха в городе и вокруг были строго засекречены. И мы — узнали. И эти знания не обрадовали ни нас, ни горожан — столь ужасны были показатели.

Более всего не понравилось это ядерному институту, ради которого был выстроен город. Но не понравилось не то, что округа «звенела» от радиации, — это-то институт знал давно, не понравилось то, что мы об этом сказали всем жителям.

И вот тут город продемонстрировал свою любовь к сталинским временам со всей очевидностью: как в лихие тридцатые, на меня был написан донос, по которому спецпрокуратура «запретки» тут же возбудила уголовное дело, и я оказался в СИЗО.

СИЗО — это тюрьма. Кто там не был, знать про тамошние порядки может только понаслышке да из редких тогда

книг на эту тему. Но не только этой информации — ни УК, ни УПК тогда в свободной продаже не было, их надо было «доставать». И я, вот так поверхностно знавший тюрьму, оказался один на один с тюремщиками и с их постояльцами. Я мог только предполагать, что меня ждет и как мне пытаться сохранить здоровье и самого себя в этих условиях.

И вот тут «сочувственную руку друга» мне протянул Валерий Абрамкин: жена каким-то чудом на развале купила его книгу «Как выжить в советской тюрьме» и передала мне ее в СИЗО.

Кто предупрежден, как известно, тот вооружен. Я буквально до дыр зачитал эту книгу. И не только я. Увидев ее, меня стали одолевать сокамерники — дай почитать! Я и не собирался прятать ее от «коллег», но поставил условие: относиться к книге бережно, так как рассыпается в руках (откуда было Валерию найти деньги на хорошую полиграфию). Убийцы и разбойники, окружавшие меня в камере, к просьбе моей отнеслись трепетно и книжку не только сберегли, но и аккуратно переплели (!).

Так что читали ее все, с кем сводила меня судьба в камере и на пересылках. А некоторым я читал ее вслух — к великому удивлению, в тюрьме я встретил несколько человек (двадцати – тридцатилетних!), которые не умели читать! Вот им я читал Абрамкина вслух.

И тогда я, вдохновленный примером Валерия, увидевши, каким спросом пользуется такая литература, решил продолжить его начинание и в тюрьме написал небольшую брошюру «Выживание в системе правосудия», а потом, когда вернулся на свободу, опубликовал ее в газете, которую начал издавать. Оттуда ее перепечатала «Экспресс-хроника», которую тогда редактировал А.Подрабинек.

Прошло совсем немного времени, и мне позвонил... Валерий Абрамкин — спросил разрешение на издание «Выживания» в своей серии «Знай свои права!».

Когда брошюра вышла и я оказался в Москве, то набрался смелости и позвонил Абрамкину: нельзя ли взять экземпляр?

Так мы встретились — первый и, к сожалению, последний раз: Валерий уже был сильно болен, и долгого разговора у нас не получилось.

Прошли годы. В тюрьму теперь я хожу часто — как член ОНК. Книга Абрамкина, переплетенная заключенными, так и хранится в моем архиве. К сожалению, больше ни разу мне она не попадалась, чтобы можно было приобрести еще экземпляры и раздавать их при посещениях колоний и СИЗО. К сожалению, эта книга актуальна до сих пор: пусть в камерах теперь цветные телевизоры, но дух советской тюрьмы, в которой все так же приходится выживать, остался. И потому жива книга, которая когда-то помогла выжить мне и еще сотне бедолаг, оказавшихся тогда рядом со мной.

Абрамкин о себе

Интервьюеры: В.Ф.Чеснокова и Л.И.Блехер,
октябрь 1988 года

— Валерий Федорович, когда вы начали заниматься правозащитной деятельностью, вы предполагали, что вас могут арестовать, посадить? Вы предвидели, что вас ждет? Не в том смысле, что посадить могут, а что придется заплатить такую цену?

— Нет.

— То есть вам казалось, что все будет легче?

— Иначе. Не легче, не труднее, а просто иначе. То, что посадят, — это было ясно. В апреле 1979 г. меня вызвали в Мосгорпрокуратуру и сказали прямо: «Как только выйдет следующий номер "Поисков" (так называется самиздатовский журнал, в выпуске которого я участвовал), вас посадят». Собирается редколлегия, все знают, что меня объявили

Интервью с Валерием Абрамкиным из сборника «Тюремный мир глазами политзаключенных» (М: ОЦ «Содействие», 1992 г.) Публикуется полностью. Фрагменты интервью были напечатаны в 1992 году в журнале «Век XX и мир» (№3) и в первом сборнике памяти В. Абрамкина «Он прожил жизнь такую, как хотел...» под заголовком «Странные ощущения».

Валентина Федоровна Чеснокова 28 июня 1934 – 27 июня 2010
псевдоним Ксения Касьянова, российский социолог, культуролог

Леонид Блехер участник правозащитного движения, социолог, публицист

заложником. Никакого обсуждения, голосования, все смотрят на меня: я должен решать... «Ну и что, — говорю, — даже если б мне расстрелом угрожали, какая разница. Мы не из их угроз должны исходить, а из нашего долга»... Здесь не было вопроса. Другое дело, как я себе представлял предстоящее испытание: тюрьма, неволя, будет тяжело, будут страдания, разлука с женой, детьми, близкими друзьями... Но вот то, что тюрьма — совсем другой мир, загробный мир, это я себе не представлял. Скажем, мне приходилось голодать и на воле — по три дня, по неделе. Все это было мне знакомо, поэтому думаю: «Любой голод выдержу». В первый тюремный год я несколько раз объявлял голодовку — на неделю, на 25 дней, и было не так уж тяжело. Но уже через два года двухдневная голодовка требовала от меня таких сил, каких и месячная на воле не требует. Когда я, скажем, в карцер впервые попал... Зима, стекла в окне выбиты, а из одежды — трусы, майка, зэковский костюмчик х/б, — не верил, что сутки проживу, а сидеть надо было 10 суток. Но и это не самое страшное. В смысле физических страданий, быта и прочего можно было все заранее представить. Но есть вещи, которые не представишь, пока сам не попробуешь. Например, лагерь в первые полгода казался мне сумасшедшим домом. Я не мог там даже ориентироваться. Это было просто страшно.

Система безумная. Особенно общий режим, он здорово отличается от строгого. На строгом я быстрее вписался в тамошнюю жизнь. Вraсти в этот мир безумно трудно. Там все как будто перевернуто. Пока нащупаешь какие-то точки понимания, общего, общечеловеческого... Все это разглядеть очень трудно, потому что эта жизнь вообще непредставима. Я читал «Мертвый дом», читал «Архипелаг», читал Марченко... Это была для меня просто информация. В отличие от человека, который попал впервые в тюрьму за обычные преступления и ничего не читал, — например, что выходило в самиздате, — у меня ситуация

легче была. Но по сути, по главному содержанию похожего я не обнаружил. Понимаете? Ничего похожего. Освободившись через 6 лет, прожив год на воле, я заново начал все переживать и понял, что это все, прочувствованное в лагере, очень близко к «Мертвому дому». Гораздо ближе, чем написанное Анатолием Марченко или тем же Буковским. У Марченко еще более или менее адекватное описание. Я имею в виду прежде всего состояния, там переживаемые, и духовный строй тюремного мира. Надо быть более зрелым человеком, чтобы взять из книг о тюрьме не просто информацию, а духовный опыт затворенности.

— Сама по себе информация: что там есть, как там бывает, она не дает человеку представления?

— Не дает. Нет ничего похожего на жизнь в твоём прежнем понимании. Отношения между людьми, реакция людей на твои поступки — все незнакомо. Ты не можешь себе представить, как твоё поведение воспринимают окружающие. Поэтому действуешь неадекватно.

Тут, возможно, ещё наложилась Сибирь (я первый срок сидел на Алтае, второй — в Красноярске). Сибиряки — они более жесткие люди. Они, например, не улыбаются. И, когда ты с московской улыбкой к ним идешь, хотя понимаешь, что нельзя улыбаться (трудно ведь заставить себя потушить улыбку, если привык улыбаться), окружающими это воспринимается совершенно определенно: улыбка — для них знак заискивания. Но есть и чисто тюремное, не только сибирское. Например, ты подходишь к человеку с каким-то расположением, хочешь ему помочь, а он это воспринимает как хитрость или тайную подлость. Ему трудно поверить, что ты действительно хочешь ему помочь или просто к нему расположен.

В первый год шла как бы выучка, была школа, время, когда учишься жить так, чтобы не «напороть косяков» (так там говорят). Первые полгода постоянно боишься косяков.

Ко мне, правда, отношение было несколько иное, чем к

другим новичкам. Хорошее было отношение со стороны тех, кто меня знал. Но там же две тысячи человек — идешь по зоне, кто-то тебя знает и поэтому расположен, а другой, он тебя не знает, а ты, предположим, сунул ложку в верхний карман куртки, а это большой косяк... Это знак «пидора», «петуха». Или пришел в столовую, хочешь сесть на лавочку — а это стол, где обедают «петухи». Там же с этими «петухами» постоянно всякие табу. Особенно на общем режиме все очень сурово. Даже «очко» в туалете есть отдельное для «петухов»... И все надо запомнить, все надо знать. Когда садишься за стол в обед и от пайки откусил, ее уже нельзя положить в карман. Если хочешь взять с собой, надо ее нетронутую завернуть в газетку, положить в карман. Ложку клади сюда, это делай так, это, когда вышел, ставь туда. Совершенный кошмар.

— Все до такой степени заритуализировано?

— Да, и причем все это ритуалы, о которых ты представления никакого не имеешь. И они очень суровы, особенно на малолетке. На строгом режиме более человеческая обстановка, более похоже на нормальную жизнь. Там меньше на тебя внимания обращают, у каждого свои проблемы: у меня свои, у тебя свои. Там люди сидят, как в родном доме. Жизнь более устроенная. А на общем — ты с ходу попадаешь в жизнь, где все иначе, где каждый шаг будет восприниматься иначе.

Меня учили не самым суровым способом. Мне начали все объяснять, наговаривать. Но я все не мог запомнить сразу. А потом — все случаи не предусмотреть. Легче то, что касается внешних вещей. Но есть еще и внутренние вещи. Например, все, что связано со статусом. С моим, например, статусом. У меня был необычный для того мира статус — статус политзаключенного. Я должен был соответствовать некоему образу, который они приписывали из своих соображений политзаключенному. И вот этот образ, навязанный тебе, постепенно начинает придавливать...

Вы знаете, сейчас много про 30-е годы пишут, но тот опыт, который люди получали в 30-е годы... Почему-то авторы большинства нынешних книг про ГУЛАГ не доходят до него, до духовного опыта! Все больше о внешнем пишут, и выходит, мы просто отодвигаемся от нашего зла, мы его отстраняем. Мне это кажется попыткой отодвинуться, овеществить и отодвинуть зло. И нашим, своим этот опыт не станет никогда, если так будут писать о прошлом. Сейчас попытка представить наше прошедшее — это попытка отодвинуть его. Может быть, все это просто приводится в привычные формы старой культуры.

— Культура — способ прожить, оболочка такая, слабенькая причем, как между жизнью и смертью. Между жизнью и смертью по очень тоненькой пленке человек идет. И так же между культурой и некультурой, между космосом и хаосом. Как, на ваш взгляд, правильно это представление культуры и хаоса?

— Да. Есть космос, и есть хаос.

— И вы, там побывав, в этом хаосе, и вернувшись, уже не можете войти в старую культуру?

— Не могу...

— Мне кажется, это экзистенциально очень важная мысль. Надо ее донести до людей. Пусть люди знают. Потому что мы действительно живем в устроенном мире.

— Мне кажется, все это вряд ли может быть опубликовано. Тот сюжет, который я излагал, он совершенно непубликуем. Это же не обличения.

— Период обличений, конечно, еще не кончился, но, мне кажется, он уже себя исчерпал, он не дает ничего нового. Теперь нужно идти на углубление, докапываться до того духовного опыта, о котором вы сказали. Давайте вернемся к вашим внутренним переживаниям.

— У меня есть два таких сюжета. Один называется «Образ Христа в сердце русского народа», второй сюжет — «Внетрагедийная ситуация». «Внетрагедийные ситуации» были связаны не столько с состоянием внутренней затво-

ренности, с положением человека в зоне, сколько с теми событиями, которые происходили помимо темы тюрьмы и тюремного мира. На меня ведь давили там постоянно, пытались сломать. У меня были страшные годы: 1983 год, потом 1985 год — самый страшный.

«Сломать» — это можно по-разному представить. Человек, скажем, покался, отказался от дальнейшей деятельности, сделал публичное заявление. Заявление от меня, например, требовали: дескать, текст мы напишем. А за этим внешним планом идет: поломать духовную основу. Мне в том же 1985 году было все равно: подписывать это заявление — не подписывать. Этот вопрос меня меньше волновал... Меня больше ломало из-за внетрагедийной ситуации. Я до ареста считал, что я сам делаю выбор, потом у меня начало возникать чувство, что я играю отведенную мне роль. Вот мне отвели роль сверху — КГБ там или кто, неважно, — я эту силу назвал «завластье». Мне никогда в голову не приходило, что у конкретных людей, которые мною занимались, такое глубокое проникновение может быть в мое состояние, в мои переживания. А у меня там были жуткие состояния, когда казалось, что выбора я не делал никогда. Меня как ввели, как погрузили в ситуацию — и все, как им надо, я делал, от начала до конца.

Я выходил из лагеря в 85-м году с ощущением, что они могут сломать любого, с любым сделать что угодно. И если они кого-то до конца не сломали, значит, не хотели. Я вышел и в 1986 году — слушал «голоса» в деревне, куда меня отправили под надзор. Тогда как раз Щаранского выпустили. Это было время, когда особенно сильно на политзаключенных давили и не все выдерживали. Был целый поток покаяний, выступлений по телевидению с отказом от дальнейшей деятельности. И по передачам западного радио получалось, что Щаранский — единственный герой: все выдержал, все испытания достойно перенес, не сломался. А у меня было ощущение (я говорю не о том, что

было на самом деле, а о своих ощущениях), что это не так. Просто им не надо было, чтобы он ломался, поэтому он и вышел героем. Если б им надо было сломать, они бы его сломали. Вот такое ощущение я вынес из лагеря.

Где-то в середине 70-х годов я включился в правозащитное движение, и у меня было представление, что это возможность возвращения трагедийных ситуаций в России. Ведь трагедийность десятилетиями приглушалась, изгонялась из жизни. Трагедия всегда предполагает возможность выбора. Выбора между добром и злом. За выбор ты платишь: или смертью, страданиями (за добро), или своей душой (за зло), приобретая жизненные блага, делая карьеру и т.п. А когда выбора нет, нет и трагедийной ситуации. Возьмите, к примеру, бухаринский процесс. Какой там был выбор? Или историю с Вавиловым. А демократическое движение начало формировать трагедийность, создавая возможность выбора для человека, для каждого из нас, т. е. от нас и зависело расширение области трагедийных ситуаций. Я свободно выбираю — это как бы дает пример. Еще кто-то свободно выбирает. И вот путем расширения поля трагедийности мы как бы создаем возможность катарсиса для всех, т. е. для меня демократическое движение не сводилось просто к борьбе за права человека — это борьба за расширение поля трагедийных ситуаций, за духовное возрождение нации, очищение. Кроме того, мы могли уже освоить страшный опыт 30-х годов. Сделать наше прошедшее прошлым. Это невозможно без встречи, лучше даже сказать — без сретенья духовных опытов поколений не только нашего и предшествующего поколения, а и поколений из других пластов времени, скажем XIX-го века. Трагедийная ситуация — это всегда СРЕТЕНЬЕ духовных опытов множества поколений. Грубый пример: когда я вступал в противостояние с властями, то мог вспомнить про декабристов, или про петрашевцев, или еще про кого-то. Я свободно выбираю, сам делаю такой-то шаг,

иду на жертвы и т. д., т. е. поступаю по своей воле так, как хочу. И где-то в 1978-м году у меня впервые возникло ощущение, что это не совсем так и что я делаю мне предписанное. По делу «Поисков» арестовали несколько человек (в 1979-1980 годах). В 1983-м я уже мог рассматривать все судебные-следственные сюжеты отстраненно. И мне казалось, что мы не делали выбора, каждому из нас навязали определенную роль. Один должен был покаяться, и он не то чтобы покался по сути, но по форме получилось покаяние. Другой должен был твердо держаться на суде, но потом, в заключении, не особенно фрондировать, чтобы освободиться после первого срока. А мне отвели роль быть до конца борцом. Когда я попытался пойти на компромисс, из этого ничего не вышло. Второе дело позволяло пойти на компромисс. По первому делу я не мог пойти на компромисс, скажем, частично признать вину. Я участвовал в выпуске журнала, у меня была ответственность перед читателями, перед авторами, еще перед кем-то. Обвинения по второму процессу касались лично меня: агитация и пропаганда в зоне. Чистая липа от начала до конца. Ну и что! Признаю я, скажем, что был агентом ЦРУ, — это мое дело. Оно больше никого как будто не касается. Или я признаю, что я, действительно, этих зэков агитировал. Ну, агитировал и агитировал. Бес с вами, если вам так хочется, я признаю, что я их агитировал. Тут, тем более, был еще целый ряд довольно-таки интересных, сложных обстоятельств. Я пытался занять такую компромиссную позицию, но она для них оказалась неприемлемой. Они сразу меня постарались вернуть в роль борца.

Уже время было совсем другое, чем в 1979 году, когда нас по первому делу сажали. Тогда один мой поделщик формально покался, его тут же выпустили — за частичное признание своей вины и отказ от дальнейшей политической деятельности. Показаний против нас он не давал. А в 1983 году ни покаяние, ни отречение роли не играли.

Люди каялись и досиживали свой срок. Когда, например, Ходорович сел, ему прямо уже говорили: «Да на фиг нам покаяние? Говори, у кого фондовские деньги спрятаны?» (Ходорович был распорядителем Русского общественного фонда помощи политзаключенным). Ничего они от него так и не получили — ни денег, ни покаяний... Вот у меня было ощущение, что роль мне назначена и я должен поступать так, как они мне предписали. Сценарий уже определен, расписан.

— Вы говорите «они». А кто «они», которые назначали эту роль, как вы считаете?

— Я для себя эту силу назвал «завласть» — вот таким смутным словом. Это некая сила, которая нашими тюремщиками руководит. Мистическая. Чисто мистическая. Название это вот откуда появилось: у меня были случаи, где я твердо был уверен в том, что они (реальные люди, занимавшиеся мной) моего состояния не могут знать. Но они в этих случаях действовали так, как будто все знали. И все, что мне в голову приходило, вот сделать то-то и то-то, как будто ими угадывалось, потому что тут же мне ставилась преграда.

Тут опять придется возвращаться к «внетрагедийной ситуации». Значит, есть рок, нормальный такой рок, судьба... И есть некая сила, которая в современном мире эту судьбу, этот рок, эту предназначенность убирает, а выстраивает свою для каждого человека. Она уже совершенно не дьявольская, не Божественная, а какая-то другая (третья?). Я когда «гнал» там свои штуки, то мне казалось, что ни Бога, ни дьявола нет. Это прямо какая-то, как говорят мистики, бездна, первородный хаос, в котором еще свет и тьма, добро и зло не разделены. Это завластье появляется оттуда. Оно так сворачивает жизненное пространство, что никакой трагедийной ситуации не развернуться. Любая трагедийная ситуация — это и внутренний план. И в этом плане ситуация выборна. Если, скажем, Лаю пред-

сказатель говорит, что его сын Эдип убьет его и женится на своей матери, то Лай все-таки может в себе выбрать: умертвит он сына или нет. Ведь сына убить — убить себя. А если сын тебя убьет — это совсем другая цена. Это же выбор: туда или сюда. Тут вся натура человека проявляется.

Я более простой пример приведу — «Песнь о вещем Олеге». Волхв говорит: «...И примешь ты смерть от коня своего». А это не просто конь — «Мой товарищ, мой верный слуга», и тут же — «расстатья настало нам время...». Вы можете себе представить другого человека, который в этой ситуации от коня не откажется, или от друга, или от сына тем более? Это все-таки выбор. Рок остается? Ну и пусть! Тем более я свободен в выборе. Рок не от меня, но поступок — мой!

Посмотрите жизненное пространство в «Колымских рассказах» Шаламова или в «Архипелаге ГУЛАГ». Понимаете, тамошние ситуации являются чужеродными, они отторгаются от трагедийной ткани из-за «несовместимости». Попробуйте здесь развернуть любую трагедию или евангельские сюжеты. Они никак не вращаются, будут тут же отторгнуты. Это уже какой-то другой мир.

— Евангелие — оно вообще от всего отторгнуто, потому что оно извне, оно сверхъестественно. Я имею в виду: само по себе Евангелие из внешних сил... Но «завластье», как вы его описываете, оно тоже внешнее?

— Да, тоже внешнее.

— Получается, две внешних силы.

— Да, две внешних силы... И у меня-то ломка была как раз на этом. На том, что я почувствовал: нет у меня никакого выбора. Я, когда это понял, даже на какое-то время успокоился, подумал: «Да, у меня нет никакого выбора, но, в конце концов, своей жизнью я все-таки сам распоряжаюсь. И, если захочу, чем не выхожу самоубийство».

Этот последний выбор всегда есть. А у меня его не оказалось! Когда я сказал: «Все, пора... пора кончить эту канитель», у меня ничего не вышло. Завластье и эту возможность

отобрало. Как только я это запланировал, мне тут же план поломали. Вот это я уже приписывал мистической силе...

Кстати, когда я выходил из этих состояний, в первый момент у меня было такое ощущение, что я могу сделать сейчас все что угодно, что я могу убить человека — имею на это право, могу отнять у него кусок хлеба — мне позволено. И главное, я это сделать в силах, человек мне подчинится: он отдаст мне кусок хлеба, он безропотно умрет. Это можно назвать состоянием внетрагедийности, ощущением внетрагедийности. Я могу сейчас, я имею право на все что угодно. Это уже не взвешивается на весах добра и зла. Это не разбирается по-трагедийному. Я говорю об ощущениях последнего года, 1985-го. В 1985-м я вышел на свободу совершенно внутренне сломленным.

— То есть ранее у вас было такое представление, что добро и зло отделены друг от друга, и добро — оно как-то существует отдельно? А там это смешалось?

— Да, я вышел с таким ощущением, что есть поток хаоса, который все больше захватывает нашу жизнь. Вот та же «перестройка»... Они ее начали только тогда, когда дисидентство сломали. В 1985 году, в начале «перестройки», политзаключенных ломали жутко. На этот период приходится очень много попыток самоубийства, очень много покаяний, и было много таких вещей, которые казались невероятными. Люди были совершенно железные, стойкие, по моим представлениям. Я, когда освободился, и до меня все эти известия доходили, я их через те свои состояния хорошо понимал, знал, что это такое.

Я вышел как будто другим человеком. Просто совершенно другим человеком вышел. Как будто дважды рожденным... Я сейчас, когда читаю прежние письма свои... Очень хорошо, что я, скажем, «Бутырские лоскутки» писал в 1980-м году, в тюрьме. Видно: это не я теперешний вообще. Я их читаю как посторонний читатель. У меня вполне четкое ощущение, что я не имею сейчас права подписывать од-

ной и той же фамилией, скажем, свои «Бутырские лоскутки» и то, что я сейчас могу написать. У меня внутреннее такое ощущение, что в любом случае мне ту же фамилию нельзя использовать, и не потому, что я чего-то боюсь. Я уже ничего не боюсь. У меня осталось как бы ощущение долга перед тем человеком, который там умер, и этот долг я должен выполнить — хотя, в принципе, это долг перед другим человеком.

Бутырка — это начало. Это еще «трагедийный период», как я его называю. Он долго продолжался, до 1983 года, наверное. В этот период все у меня шло на подъеме, легко...

Это очень тяжело, потому что есть люди, которые знали тебя до ареста очень близко и хорошо, и, когда ты с ними встречаешься — у меня много было таких встреч, очень напряженные контакты, насыщенное общение, — и они вдруг чего-то не узнают. Это страшное на них производит впечатление. Я как-то более спокойно к этому отношусь, потому что я сам с этим уже смирился как бы. Я понимаю, что это такое. А для них это что-то страшное. Им жутко просто. Я три месяца жил в Париже, у своих друзей. Мы раньше, до ареста, жили почти одной семьей... И в эту встречу было невероятно тяжело.

У меня ощущение, как будто для меня совершенно другое предназначение появилось. Не то дело, с которым я пришел в мир, когда родился и когда садился, а совершенно другое предназначение, и такое ощущение, что я не должен бороться со злом, я должен служить равновесию. Это понятно? Выжить в борьбе со злом я уже не могу. Значит, я должен с ним жить как-то в равновесии. Когда живешь в равновесии, это делает жизнь очень трудной. Во-первых, есть определенное ожидание и требование к тебе, как к тому человеку. А я уже действовать в соответствии с этими ожиданиями не могу. Я могу какую-то роль разыграть, но это для посторонних людей. А когда ты живешь постоянно с близким человеком, ты же не можешь эту маску держать все время.

— Ну, а вы не считаете, что вы сейчас вышли на предназначение свое?

— Нет, у меня было другое предназначение. Я не знаю, годится ли здесь такая иллюстрация или нет, но это примерно так выглядит. Мне рассказывали, что когда-то, в давние времена был такой обряд: человека душили. Затягивали веревку на шее и ждали, когда он умрет. Когда он уже умирал, его откачивали, возвращали к жизни. Это был способ перевода человека в другую личность. Мне рассказывали антропософы. Они очень толково это объясняли, по-своему.

— У вас есть ощущение, что это произошло закономерно или это произошло случайно?

— Это случайно произошло. Я, может быть, ошибаюсь. До сих пор мне кажется, что нет в этом закономерности. Мне иногда кажется, что, если б у меня вдруг была возможность вернуться в прошлую жизнь, туда, в 70-е годы, я бы постарался избежать этого.

— Вы считаете, что то состояние, которое было «до», оно лучше? Оно было более правильным, более возвышенным?

— Оно было переносимее, внутренне переносимее.

— Если б вы сейчас вернулись, это было бы более адекватное состояние?

— Да.

— А вернуться не можете?

— Нет.

— То есть вы ощутили зло как очень мощную такую силу?

— Это не зло... То есть это для меня бездна, я говорил. Есть вот этот хаос, и этот хаос очень силен. Вот как кипящий котел с молоком в сказке про Ивана-Царевича.

— А можно сказать так: у вас существовало ощущение справедливости, закономерности, а сейчас вы его потеряли. Справедливость незаконно на земле бытует, не торжествует всегда.

— Мне кажется, в мире что-то страшное происходит; такое страшное, когда мы уже переходим к другой жизни,

и здесь человек может выжить, только переписав на белом весь текст культуры и выстроив жизнь на совершенно других основаниях.

— То есть хаос надвигается и нужно... снова его разделять на свет и тьму, добро и зло... И что старая культура не спасает?

— Она не способна спасти.

— То, что вы сейчас сказали, очень существенно. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но это существенно сформулировать, потому что сформулировать бывает очень трудно такую мысль. А вот насчет той культуры, которая на новых основаниях?

— Это тот предмет, которым я сейчас живу, внутренне: попытка этот способ жизни найти. Причем у меня есть такое ощущение, что я уже для этого нового способа жизни не годен, но мой опыт — он может пригодиться другим людям... Такое странное ощущение.

Эти сюжеты — я их только устно излагал. Два: об образе Христа и вне трагедийной ситуации. В «Бутырке» я как бы в предвидении появления таких сюжетов эту тему немножко трогал, подходил к ней. Она мне была там не нужна, в общем-то, но я тогда немножко предчувствовал. Там были только первые робкие шаги, подходы скорей.

— Вот это ощущение, которое пришло к вам в зоне, где вы наблюдали очень много людей, как они, варясь во всем этом, с этим соотносятся — хаос, завластье, — это же мировая атмосфера, общая для всех. Как она другими переживается? Она на вас сосредоточивается одним образом, на них — другим?

— Они все-таки живут в области трагедийности. Это очень интересная вещь. Когда человек попадает в тюрьму и начинает рассказывать свою жизнь, особенно если он в первый раз попадает, он ее начинает редактировать. Он свой сюжет редактирует, и, чем дальше, тем больше он становится трагедийным, по-античному трагедийным.

Человек переделывает свою жизнь, ты эту переделку слушаешь не один раз, и видно, куда он смещается. Есть люди,

которые просто делают себе более красивую жизнь, а есть люди, у которых как бы обнаруживается тоска по трагедийности. Таких людей очень много. И от этой тоски появляются и рок, и судьба, и предвидение, и предсказание, и объяснение: почему не помогло предвидение, интуиция, предчувствие, предсказание. Часто это касается истории ареста: почему человек все-таки попал в тюрьму, хотя у него были возможности предупредить арест, ему предсказывали, он мог как-то выйти из этой ситуации. Но это его судьба.

И, знаете, в основе всего — совершенно потрясающая жажда справедливости. Вот это — образ Христа и жажда справедливости. Даже в камере с блатным порядком или с беспределом. Лидер внутренне чувствует потребность оправдать справедливостью установление этого порядка, т. е. убедить самого себя, что он поступает справедливо. Когда блатной захватывает власть, он же как людей заставляет работать на себя: «Ну, ты парень, ты че! Дед вместо тебя пол моят, старый человек, а ты, вот, молодой, лежишь, сука такая, и не двигаешься». На самом деле понимаешь, что его не волнует старик, но вся его аргументация должна быть построена хотя бы на внешней справедливости. Еще один пример. Если человеком наказание ощущается как справедливое, оно очень легко переносится. Даже мелкое наказание за нарушение режима в зоне. Там же говорят, не хороший или плохой отрядник (начальник отряда), а «справедливый мужик» или «неправильный»! Один и другой сажает тебя в ШИЗО, например. А поскольку это совершенно разные люди, то получают и совершенно разные ситуации. Справедливый мужик, он вникнет, поговорит с тобой, скажет: «Я ничего не могу сделать, ты совершил вот такой-то проступок, за него должен быть наказан».

Это касается даже ментов, как это ни странно. Я могу рассказать две таких истории. Иногда человеку явно не хватает возможности выговориться, ему не хватает исповедника. У меня там было очень много таких случаев. Посколь-

ку я человек, юридически образованный, ко мне приходят с просьбой помочь написать жалобу о пересмотре приговора. Через меня прошло очень много приговоров. Приговоры все юридически несостоятельны, на 90%. Я обычно просил человека мне ничего не рассказывать предварительно. Приходит он с просьбой писать жалобу и начинает рассказывать, а я ему: «Ничего не надо. Дай мне приговор и обвинительное заключение. Я сам посмотрю и все сделаю. Если можно написать кассационную жалобу или надзорную жалобу, напишу». Я вижу этот приговор: явные процессуальные нарушения, еще что-то такое, и схема жалобы выстраивается без труда.

— А он разговаривать хочет...

— Он хочет разговаривать! Значит, приходит к тебе человек, и два часа вы сидите. Он приносит чай, заваривает. Мы сидим с ним, он два часа что-то рассказывает. Ты уже там отключаешься от всех этих историй — ну просто сидишь и внешне реагируешь. Уже не помнишь, что он раньше говорил, только так что-то из рассказов выхватываешь, чтоб прореагировать, неудобно потому что. Человек два часа говорит, а потом: «Да не надо писать никакой жалобы...» Такое ощущение, что он понял, что за дело сидит. Все. Вот не надо писать жалобу... У меня был там совершенно прелестный старик. Это еще на общем режиме. Парикмахер. У него срок был всего 3 года. Он порезал своего сына, не насмерть, а тяжкое телесное повреждение. Вот написал я ему жалобу, юридически грамотную. Еще до того, как я выслушал его истории. Я понимал, что лучше написать так. Принес ему. Он прочитал и говорит: «Нет, это не годится». Начали мы с ним говорить. Он мне тут начал все подробно рассказывать, как все было, как он жил — все. Я понимаю, что ему хочется. Я пишу ему другую жалобу, где излагаю то, что ему хочется. Прихожу к нему. Он говорит: «Почитай». Сам он плохо читал, плохо видел. Я ему читаю жалобу, она длинная была. Он сидит и плачет. Потом

говорит: «Приходи ко мне еще». Я к нему через неделю прихожу, он снова достает мне ту же жалобу и говорит: «Прочитай мне еще раз». Вы знаете, он эту жалобу никуда даже не отправил. Она у него так и лежала до конца срока.

Это очень характерно для эков. Когда жалобу пишешь прочувствованно, ему не важно, что она юридически несостоятельна, что она явно никуда не пройдет, ни на что влияния не окажет. Слово уже написано, он его слышит, он читает — и это все, что ему надо. Казалось бы, просто приведи сюда духовника, и пусть сидит и всех выслушивает. Там же есть такая поговорка: «Кого колышет чужое горе?» И, когда появляется человек, который готов его выслушивать, ему кажется, он душу живую нашел, высказался — легче ему стало. Причем люди начинают рассказывать такие вещи, которые не стоило бы рассказывать. Но ему надо покаяться. И у меня иногда возникало ощущение, что здесь священника не хватает или просто был бы «отрядник» такой, который бы больше тебя слушал и меньше сам говорил. Вроде бы и немного человеку надо.

А вторая история про мента, про того, который меня курировал. По должности он был заместителем начальника колонии по режимно-оперативной работе. Это второй человек после хозяина, в чем-то он даже выше хозяина, т. к. непосредственно связан с КГБ. Я сидел в ПКТ, там отбой в 9 часов вечера. Стараешься сразу заснуть, потому что днем поспать не дадут, нары ведь подняты. И вот он начал после отбоя меня дергать к себе наверх. Поначалу я думал, что он чего-то хочет поиметь с меня, выудить какую-нибудь информацию для КГБ. Может быть, этот элемент и присутствовал, было, наверное, задание какое-нибудь. Хотя, честно говоря, узнавать у меня было уже нечего. Я чувствовал себя более-менее спокойно, потому что ничего не знал. Уже 5 лет прошло, на воле все поменялось. Про тамошние дела я ничего не знаю: жене свиданий не дают, переписку почти прикрыли, никакой информации не имею — чисто не имею.

Чего с меня вытягивать? Про «Поиски»? Так все номера журнала изданы уже на Западе. Все. Теперь уже не поймаешь и не спрячешь. Да и кому это интересно вообще? Кто за что там, скажем, в «Поисках» отвечал? Кто-то из сотрудников журнала на Западе, кто-то умер, кто-то вышел из лагеря и ничем не занимается. Потом мне показалось, что у него есть необходимость выговориться. И он, значит, просто сидит и выговаривается передо мной. А чисто по-человечески я должен был его ненавидеть, заразу, потому что по его указанию устраивались мне всякие жуткие вещи: вроде «конфликта в камере», когда шнырь в ПКТ за пачку махорки уговаривал сокамерников меня избить, — это явно делалось по его указке. Он с Катюшей (женой) поступил подло, когда она приехала. Он нам даже короткого свидания не дал, хотя было положено. Она уже получила разрешение официальное, пришла в колонию, а ей отказали. И мне тоже... Так вот, он пытался представить свою работу как справедливую. А незадолго до этого был страшноватый довольно-таки случай. Я сидел в ШИЗО, и поднимают к нам из ПКТ парнишку молодого, который в этот день дважды вскрывался — резал себе вены. Вызывали врача, тут же в коридоре накладывали швы и бросали его обратно в камеру; ни в больницу, никуда... У него мойка (кусок бритвы) была затарена с собой. Да и потом, в камере всегда найдется, чем вскрыться, и тому человеку, который хочет вскрыться, нельзя отказать в этой ситуации. Это его проблема, он требует мойку — и ему дают. Он вскрывается еще раз и еще раз, уже лужи крови на полу. Приходит этот зам. начальника по РОР и совершенно таким гнуснейшим голосом ему говорит: «Ты хоть сдохни здесь, мы тебя никуда не отправим». Парень-то требовал, чтобы его отправили в больничку, т. е. в краевую больницу для эков. И тогда он вскрывает себе живот. Причем ему обязательно надо было распороть диафрагму, чтобы вылезли кишки, в таких случаях местные врачи не рискуют зашивать

сами. Но не вышло. На него надели наручники, зашили ему как-то живот и посадили одного, приковали наручниками к трубе. И вот как раз через неделю после этого случая вызывает меня этот зам. начальника по РОР и начинает разглагольствовать: «Я, дескать, понимаю, что система эта несправедлива, что она ничего не исправляет. Я, когда еще учился в училище, видел, что в этой системе больше минусов, чем плюсов...» Я его и спрашиваю про этого парня: ну система системой, а вам по-человечески просто, что, его не жалко, что ли? Парень молодой. Просто ведь помрет, в конце концов. «Жалко, — говорит, — очень жалко. Но вот ты представляешь, если мы его отправим на больничку, то еще 20 человек будут резаться. Он же ведь разрезался почему?» — и тут он действительно прав. Другая история была недели за три до этой, когда один заключенный удачно себе вспорол диафрагму, вывалил кишки на ладони, и его отправили на больничку. После этого начали другие резаться. «Значит, что же, — родолжает зам. по РОР, — мне его жалко, а других, которые резаться будут, мне что, должно быть не жалко? Я ж должен показать всему ШИЗО, что этот номер не пройдет. И ведь перестал резаться»... По его словам получалось: во имя высшей справедливости, чтобы остальных спасти, он этого парня вынужден был не пожалеть и всего изрезанного приковать к трубе.

Он так и говорил: «Я все понимаю, понимаю, что это бесчеловечно, что это жестоко, что это ужасно... Вот у меня и сын растет такого же возраста, как этот вскрывшийся парень. Я смотрю на это, но я не могу ничего сделать».

— А выйти из этой ситуации достойно он не может? Уволиться, в конце концов, из этой системы?

— Я его о том же спросил. А он: «Так еще какой-нибудь зверь будет работать вместо меня. Что, старый зам. по РОР лучше, что ли, был?» А тут он немножко «запорол косяка», как говорят ээки. Если б эта его фраза стала известна пред-

шественнику, а тот пошел на повышение, то это... Я даже подумал, что, наверное, нас не прослушивают, когда он это сказал.

И еще вот была такая штука, которая меня очень поражала в связи с приговорами других заключенных, которые я читал. Я бы сказал, что они все юридически безграмотны, особенно не московские, а провинциальные, то есть юридически вина осужденного в них не доказывалась. Но тут есть еще один очень интересный момент, совершенно потрясающий. Чем больше я слышал историй от самих осужденных, тем больше я понимал, что человека (не всегда, но нередко), посадили за дело. Может, даже не за то дело, о котором идет речь в приговоре, но тоже как будто по справедливости. Это был довольно-таки страшный момент, когда я это понял. А потом уже начал следующие приговоры так же оценивать, сравнивать с историями, которые мне рассказывают, и для себя сложил такую картину: ни следствие, ни суд не имеют времени и сил делать все так, как надо. Они используют «дешевые» способы работы, то есть стукачей, наседок. Следователю важно убедиться, что человек виноват, а после этого он считает, что имеет моральное право оформить все что угодно. Раз это справедливо, значит — все. Бумажки же — мелочь. Мне об этом подробно рассказывал следователь, который был в следственной бригаде по моему делу. Но я тогда как-то пропустил его рассказ мимо ушей. А после всех приговоров, которые валом шли через меня, после всех историй я вдруг понял: приговоры несостоятельны, но многих вроде за дело сажают. Такая жуткая картина.

— А приходилось встречаться с теми, которые в самом деле не то что «ни за то», а вообще просто не виновны?

— Чаще всего попадались люди, которые реально вроде бы и совершили преступление, но таких преступлений куча. Их многие совершают, но почему-то сажают отдельных, избранных. За то, что они на воле еще «напороли косяков»

— начали качать права, чем-то не угодили начальству. Был у меня там приятель, который сидел по хозяйственным делам. Он не поладил с 1-м секретарем крайкома или райкома партии. Его надо было убрать, начали копать под него. Он, конечно, за реальное преступление сидел, если судить по букве закона: он был прораб, завывшал объемы работ, оформлял липовые наряды и т. д. Но таких людей много.

— И человек ощущает это как несправедливость.

— Да. Наказание тюрьмой за такое преступление как справедливое не воспринимается, и не только им самим, нет, другими людьми — в тюрьме и на воле. Либо должны все сидеть, которые это делают, либо он не должен. Это, вообще-то, правильно. Это и есть основа справедливости. И поэтому, пока человек сидит, он строит планы мести тем, кто его посадил. Это в неволе любимая тема. Хотя, как правило, когда люди выходят, они забывают про свои планы. Но там это такая жгучая тема, которая постоянно ворочается в человеке, и, если ее не остановить, человек может и задвинуться.

Про таких говорят там: «У него гусь оторвался», то есть человек начинает неадекватно воспринимать происходящее. Если он вернется потом в семью, как тот прораб, может, он и выправится. Но он в конце срока стал уже, действительно, «задвигаться» на этих планах мести и на том, что это такая несправедливость. Ему уже казалось, что и этот вот на него не так посмотрел, и тот что-то против него замыслил.

Еще у меня был один приятель, он был дважды осужден за убийство. Очень интересный человек, потрясающе интересный. Он выучил английский язык, когда по второму делу был приговорен к расстрелу и сидел во Владимирской тюрьме. А вообще к моменту нашего знакомства он отсидел уже 16 лет, и ему еще года 4 оставалось. Раскрутился он второй раз за убийство уже в зоне. У него начались какие-то «гонки»: как будто администрация женщину ему подсы-

лает, а та пытается его соблазнить. Никаких женщин там ему не подсылали — приходила просто вольная сотрудница. Она приходила в склад, где он работал. Я это хорошо все видел. А он каждый раз говорил что-то вроде такого: «Ты видел, как она на меня посмотрела, а вчера и задела меня коленом». Это была совершенно какая-то шизофрения. А началось все с того, что его представили на перевод в колонию — поселение. Вопрос этот решают сначала на двух — трех комиссиях, а потом судом. И вот первые две комиссии он прошел, а на третьей его «срезали». А он, пока комиссии проходил, все время жил надеждой. Для него колония — поселение — воля. Все-таки половина жизни прошла в тюрьме. И вот два — три месяца надежды, свобода уже рядом — и тут отказ. Потом, через год ту же самую нервотрепку ему устраивают. И вот, чтобы не было больше соблазна проходить все это третий раз, он взял и написал заявление: прошу перевести меня в колонию особого режима. Он раньше на особом сидел, а потом его в виде поощрения перевели на строгий режим, где и режим мягче и есть возможность раньше освободиться.

И начал требовать перевода, угрожая отказом от работы и т.д. Его замучило состояние неопределенности. Такой сложный сюжет: будто ему подсылают женщину, чтобы он изменил другой (тоже вольной), которая как будто и в самом деле была к нему равнодушна, за это ее, видимо, и уволили...

— А чем особый режим отличается от строгого?

— На строгом живут в бараках, общежитиях. После работы можно погулять по локалке (отгороженному кусочку жизненного пространства возле барака). А на особом — камеры: приходишь с работы, и тебя под замок. Потом там меньше денег разрешают тратить на ларек, меньше писем, свиданий и т.д. Я его после первого отказа комиссии вывел из депрессии, а потом, после второго, у него явно «поплыли гуси». Он почувствовал, что надо избавиться от соблазна досрочной свободы, написал заявление и пошел на особый режим.

— Если бы у вас была возможность дать рекомендации по изменению структуры ГУЛАГа, реальности социальной, что вы порекомендовали бы?

— Самое ужасное, катастрофическое положение — на малолетке. Первое, что надо спасать, — это детей. Есть лагерь для несовершеннолетних. И спецшколы, спец-ПТУ для детей от 11 до 14 лет. У меня в колонии были знакомые, прошедшие спецшколу и колонию для несовершеннолетних. От них я много слышал о том, что там происходит. Некоторые даже могли не просто описать, а передать внутреннее состояние, показать психологию, показать, как разворачивается эта пустота, необратимая деградация. Мне трудно себе представить, чтобы человек из спецшколы или из малолетки вышел нормальным — то есть там уже какие-то необратимые изменения происходят. Один такой парень, с которым мы сдружились, при мне освободился и через три месяца снова сел. Сел по совершенно ужасной статье: за изнасилование какого-то мужика. А парень, в общем-то, удивительно хороший. Он детдомовец, прошел спецшколу, малолетку, потом попал на общий режим. И он так все время около меня держался, где-то с полгода мы с ним в цеху вместе сидели. Успели даже не только подружиться, а привязаться друг к другу. Я пытался его спасти: адреса друзей давал, когда он на волю выходил, чтоб кто-то смог ему там помочь, поддержать. Я чувствовал, что ему трудно будет удержаться там. То, что он рассказал о спецшколе и колонии, трудно передать. Вы понимаете, какая штука, когда в «Огоньке» пишет журналистка: «Я была в такой-то зоне для малолетних преступников, я видела начальницу лагеря; она такой человек душевный, она столько делает, она так за них переживает», — то я понимаю, все это ерунда. Самое страшное, что происходит, это происходит тогда, когда они остаются одни. И вот это уже никакой душевностью не изменишь. Все самые страшные вещи происходят, когда их запирают на ночь, оставляют на ночь. Там происходят

изнасилования, заталкивают кого-то в тумбочку и выбрасывают в окно. Он так спокойно об этом рассказывал. Это не придумано... Отношения, которые существуют между детьми, гораздо более страшные, чем, скажем, в известном романе нобелевского лауреата Голдинга «Повелитель мух», гораздо страшнее. Структура, которая там складывается, сама по себе ужасна. Все это себе вообразить невозможно. Нельзя собирать детей одного возраста и пола вместе. Ни в коем случае нельзя! Подростки всегда структуру складывают патологическую. Когда только они со взрослыми в полноценном контакте, тогда другое дело.

Вы знаете, какие сейчас предложения выдвигают: если пацану на малолетке исполнилось 18 лет, а срок у него не кончился, надо его оставить в этой колонии — это вроде как спасение. Но на самом деле это не спасение.

Вы знаете, совершенно потрясающие вещи происходят на строгом режиме. Приходит такой мальчик с малолетки, ему 19 лет, он становится как бы общим сыном. Там сидят старички 50–60 лет, он попадает, как в рай, это по нему чувствуется. Получается какой-то эквивалент нормальной жизненной ситуации: взрослые, старики, дети. Они его спасают, они ему подсказывают, как себя вести, они ему пряники какие-то пихают, часть нормы за него делают. Вот это для меня было совершенно потрясающе. Одного парня (там мало таких 18–19-летних, они обычно на общий режим попадают) просто портили, баловали таким отношением. Он явно садится всем на шею. Развращали его как любимое дитя. У нас в отряде на 100 человек двое таких было. Ко второму чуть-чуть прохладней относились, но все равно и его опекали. А на общем они совершенно в иную ситуацию попадают, хотя и там им гораздо лучше, чем на малолетке.

У взрослых, наверное, тоже есть потребность такая — помочь ребенку. Сидит, скажем, человек 10 лет. У него же дети на воле остались. Ему просто нужен объект любви,

ласки, заботы. Старичок какой-нибудь к этому малолетке тянется, как к своему сыну. Если даже какой-нибудь убийца сидит, шесть душ загубил, а к пацану по-настоящему добр. Никаких сексуальных устремлений нет. Вот на общем режиме — там это есть. Второй по тяжести после малолетки — это как раз общий режим. Ээки его «спецлютым» называют. И, я думаю, тоже за счет возрастной гомогенности. Там основной контингент — это мальчишки до 25 лет. Вы знаете, я еще обращал внимание (особенно это заметно в камерной системе): когда собираются люди примерно одного возраста и одного пола, естественно, у них все отрицательные качества усиливаются, а положительные гасятся. Стоит появиться одному старичку (не обязательно, чтобы он был авторитетным, просто любой старик) — и отношения тут же сами по себе гуманизируются.

Разновозрастность создает естественную структуру. Когда они все одного возраста, они не могут из себя социум выстроить, потому что начинается соперничество («я тебе не подчинюсь»). А со взрослым, старшим более нормальный социум естественно складывается — это очень важная вещь.

— И мне кажется, что нельзя подростков держать одних вместе, это безобразия. Я не знаю, кто это придумал. Это же очевидные вещи.

— Судя по тому, что мне приходилось читать, я не скажу бы, что все это очевидно. Все это сделано для удобства воспитателей, потому что дети одного возраста, к ним одинаковые приемы применяются педагогические. Их вроде одинаково надо воспитывать. Потом боятся, что уголовники будут их обучать дурному, криминальному. Доводы я знаю, но они все несостоятельны.

Гомогенные по возрасту и по полу замкнутые группы, они, если посмотреть, зачем создавались в обществе? Для выполнения какой-то экстремальной задачи. Война — надо идти убивать. Если с тобой будут дети и женщины, это по-человечески сложнее. Как я могу убить врага? На их глазах

я не могу убить. Поэтому отправляются одни мужики одного возраста. Если вспомнить даже амазонок — это тоже женщины одного возраста, от этого воинственность. Это вот такая гомогенность получается — и по возрасту, и по полу. Есть и примеры другого рода: скажем, монастырь, лицей, дом сирот Корчака. Но там появляется высокодуховная задача, то есть человек уходит в замкнутую группу, в монастырь, сам, для выполнения огромной духовной задачи.

Там обязательно есть лидер, человек очень сильный, высокой квалификации — и в монастыре, и в лицее, и у Корчака. Человек, который может взять на себя всех этих людей, и появляется нормальная структура. Но таких людей мало очень. А вот так просто всех вместе собрать или детей, или стариков — там этого не образуется само по себе. Да еще и первого попавшегося воспитателя им туда отправить — это не получится просто.

И вообще, человек даже там стремится к созданию каких-то эквивалентов. В зоне, там условно, можно сказать, есть род, есть семья. Они так и называются — «семьи». А род образуется по принципу землячества, по какому-то внешнему, номинальному признаку — все земляки из одного города, из одного поселка. Семьи — это 3-5 человек, которые ведут общее хозяйство. Они защищают друг друга, они, если что-то с кем-то случилось из их семьи, защищают, лечат, встречают семьянина из ШИЗО. Обязательный обычай — встреча семьянина из ШИЗО. Семья должна подготовить ему обнову, то есть весь костюм с ног до головы, чаем завестись. Семья занимает деньги, и им дают в долг. Это веский довод: «Мы встречаем своего семьянина». И даже на строгом режиме существует эта тяга к образованию семьи. И в камере эта семья тоже создается. Когда камера большая, там разбиваются на семьи. Сперва «делим пайку пополам», потом все, что поступает, — общий наш доход. А потом обязанности возникают определенные, семейные. Взаимные обязанности. Заметно стремление человека да-

же там, в тюрьме, построить нормальную жизнь. Мне кажется, что надо использовать это стремление так же, как и стремление к трагедийности и к справедливости. Ведь если говорить о задачах этой системы, то самая высокая человеческая задача, которая перед нами стоит, — это помочь человеку духовно возрасти или по крайней мере не стать хуже, «не навредить». А сейчас основная масса людей, попавших в лагерь, становится хуже. Редкий человек духовно возрастает. В основном деградируют, то есть и в самом деле выходит — это школа преступности. Не потому, что зэки обмениваются информацией, как воровать или как грабить — это криминализация не внешняя, а внутренняя. Если бы, скажем, суд стремился доказать справедливость наказания обвиняемому (это розовая мечта, конечно), если хотя бы подсудимый видел это стремление. Пусть он даже не признал бы своей вины, это трудно, но справедливость почувствовал бы. А сейчас, знаете, как народных заседателей называют в тюрьме? «Кивала»! Точное слово! На зонах говорят: «Прежде, чем стать судьей, человеку надо отсидеть года три хотя бы, чтобы понять, что он с подсудимым делает». Как работает ощущение несправедливости? Вот пример. Одно из самых сильных наказаний в колонии за нарушение режима содержания — ШИЗО. Через 15 суток теряешь адекватное представление о реальности. Это вечный полумрак, отсутствие времени, это голод, холод (зимой) или духота (летом). Навязанность тебе людей, от которых никуда не денешься.

В карцере СИЗО сидят по одному. Для меня легче было сидеть в карцере, хотя карцер у меня был не из лучших. Вот, например, в Барнаульской тюрьме холодно было до жути. Когда отсидел день, писал на стенах: «Это фашизм». А сидеть надо было 10 суток. Но в ШИЗО страшнее, потому что еще и людей в камере много.

Я у своего зоновского приятеля, не раз сидевшего в ШИЗО, спрашиваю: «Ты понимаешь, ведь пайка шизовская — она

конечно, мала (450 граммов, что ли, а горячее через день), но в блокаду ленинградскую еще меньше пайка была, отчего жетяжело сидеть-то?» А он говорит: «Дело ведь не в том, что пайка маленькая, что голодно. Я ж смотрю на волю — хлеб на помойку выбрасывают. В Ленинграде была необходимость, а здесь нас морят специально — это же и есть самая главная несправедливость, что они меня, как животное какое-то, морят голодом специально. Играют только на моих животных страстях. Лишают меня семьи, женщины, пайки — всего. Это же несправедливо. Как я, выйдя на волю, буду смотреть на людей, которые в этом виноваты? Они ведь все виноваты». Человек действительно выходит на волю с ощущением, что тот, «который мне встретился по дороге», вот он виноват в том, что со мной случилось. Это отношение отсидевшего человека мне хорошо знакомо. Это злобность какая-то к людям, которые все это время были на воле. Она тоже способствует деградации заключенных. У нас ведь совсем другой «мертвый дом», чем во времена Достоевского. Тогда весь город приносил в праздник корзины с едой для арестантов, были связи между тюрьмой и волей — духовные, социальные, психологические...

Подытожим мои предложения. Создать в тюрьме более естественную человеческую среду, сделать ее гетерогенной по возрасту и, может быть, полу. Заложить в основы уголовной политики, судопроизводства, тюремных учреждений принципы справедливости. Потом восстановить связи между тюрьмой и волей, чтоб было сочувствие к узнику как к человеку страдающему. Сложнее сформулировать мои предложения по поводу такого способа духовного возрастания человека, как трагедийность, катарсис... По крайней мере надо допустить в зону священника, исповедника.

Я понимаю, что это все очень сложно. Тут все надо пробовать. С ходу не может быть каких-то определенных вещей, которые явно сдвинут там все к лучшему. Этот мир надо знать, чувствовать и сначала пробовать, смотреть,

а потом двигать опоры, на которых он держится. Могу вам вот такой пример привести. Когда на зоне все нормально с едой, когда зона сытая, это в общем приводит к повышению агрессивности — это тоже я замечал. Сразу увеличивается количество активных гомосексуалистов, больше драк, убийств, скандалов, больше водки и наркотиков. Даже отсутствие чая в какой-то мере спасительно, потому что человеку есть, что добывать. Он чай достает...

Кстати, чай — напиток очень благородный: он смягчает обстановку, облагораживает человека. Тут у меня твердое убеждение. Когда в камере сидишь (например, в ПКТ) и есть чай, конфликтов гораздо меньше. А в камере сидеть очень тяжело. Там какой бы человек хороший ни был, через месяц он становится тебе противен, что-то в нем раздражает: тот не так сморкается, тот не так сидит на параше, этот все время берет первую миску из кормушки. Все это какие-то мелочи, и вроде бы они не имеют никакого значения. Бывает, все сокамерники — люди, более-менее приличные, хорошие. Все равно накапливается раздражение. А чаепитие — это еще и ритуал, похожий на славянскую братовщину, когда чаша идет по кругу, и каждый по два глотка или по три делает (разный порядок на разных зонах). Чай действует благородно. Это не водка, не наркотик. Но чай — запретный плод, хотя обычно администрация колонии понимает, что без чая зэки работают хуже, и сквозь пальцы смотрят на его нелегальное поступление и на то, что все его пьют.

Если еще о ритуалах, вот, скажем, прописка. Обычно ритуал этот распространен на малолетке, или в следственных изоляторах, или, как говорят, в тюрьмах. В большой тюремной камере, когда приходит новичок, особенно это касается не аборигенов, которые по несколько раз уже здесь бывали, а впервые арестованных. Человек приходит, его в камере «прописывают». Я сам этого не проходил, у меня была маленькая камера. Но про этот ритуал много слышал и читал потом.

Вообще — бесчеловечность, человека доводят черт-те до чего. Над ним издеваются, издеваются жутко, некоторые просто сходят с ума от этого. А в камерах, где этот ритуал не так жесток, он человеку помогает адаптироваться к новым условиям, преодолеть стресс от ареста, от несчастья, обрушившегося на него, от разлуки с семьей. Здесь выявляется его натура: гнилой он или не гнилой. А потом, знаете, какая штука, самое непереносимое в первые часы и дни неволи — сама затворенность. То есть если ты попал в спокойную камеру, то на тебе это сильнее может отразиться, чем прохождение через экстремальную ситуацию, испытания, когда тебя от твоего главного переживания отвлекают.

Ты должен уже жить здесь. Ты ушел — разрыв с миром ощущается ужасно. Жутко делается: как будто попал в склеп. Вращение в жизнь — это очень медленный процесс. Человек вначале не хочет вживаться, он застревает в «гостиной» и вместо того, чтобы раздеться, пройти дальше, забивается в угол: дескать, это все временно, жизнь будет потом, когда я выйду. Жизнь была до и будет где-то в будущем, а настоящее — это не жизнь, это надо вычеркнуть, забыть, от этого скрыться, и все. И если человек застревает на этом, то он сразу начинает деградировать. Это прямо видно. Там очень соблазнительно уйти в воспоминания, не обращать ни на что внимания. Но, если ты не включаешься в жизнь, то это для тебя же оказывается хуже. А при «прописке» сразу происходит включение в тюремный мир, и для такого включения существует свой механизм, отработанный десятилетиями. Я к чему все это говорю? Для понимания этого мира надо не на поверхностные вещи обращать внимание, а на более глубокие.

Нельзя строить как будто на пустом месте, тем более опыт-то есть. Значит, нужно понять, что в этой жизни, в этом опыте есть положительного. Иначе невозможно бороться за улучшение тюремного социума. Мы можем добрыми намерениями не помочь, а навредить. Вот как с примером

улучшения питания. Не стоит полагаться на какие-то кажущиеся очевидными вещи: «тюрьма — это бесчеловечно», «зэков морят голодом», «них нет прав» и т. п. Тюрьма — это особый мир, со своими законами и особенностями. Не понимая их, не чувствуя их, мы можем гуманизацией, понимаемой просто как улучшение условий, навредить заключенным.

— Совсем другого мнения придерживается наш предыдущий респондент. Он считает, что обращаться с ними нужно, как с больными.

— Для меня это совершенно неприемлемо. У Достоевского есть такая мысль (не помню ее дословно): поголовным прощением преступников мы им же хуже сделаем, лишим их основы нравственного перерождения. Больной — это больной, он не виноват в своей болезни. Преступление (если исключать случай, когда оно следствие душевного заболевания) — результат поступка человека, такого поступка, который требует общественного осуждения и наказания. В противном случае мы провоцируем его на совершение новых преступлений, на вседозволенность...

Если просто изолировать преступника от общества на всю жизнь — и все, изолировать и создать ему нормальные условия — это значило бы откупиться от него, откупиться от проблемы, платить деньги, чтобы нам было спокойней: я деньги отдаю, и пусть его там держат, мне так спокойнее. Пусть его кормят, поят, развлекают... Короче, обрекают на растительную жизнь, а до души его мне дела нет — так получается?

Но если говорить о создании гетерогенных по возрасту общежитий, то надо действительно вначале как-то рассортировать людей. Человека с психической патологией не стоит, наверное, к детям пускать. Нужен эксперимент, проверка. Я считаю, все надо проверять. Есть разные рабочие гипотезы, мне кажется, что не стоит какую-то одну из этих гипотез считать абсолютной.

Еще одно наблюдение, которое я вынес из камерной системы. Бывают камеры с блатным порядком. Там есть главный — «пахан», есть его подручный — «поддержка», может быть небольшая группка авторитетных, есть «серые мужики», «шестерки», «петухи». В таком порядке, например, вся камера и на прогулку выходит. Впереди «пахан», за ним «авторитетные», потом «мужики, «шестерки», с некоторым интервалом — «петухи», а совсем сзади — «поддержка». Он за всеми приглядывает, чтобы никто, особенно из последних, никуда не «ломанулся». Камеру убирают шестерки, шныри, иногда (строгий режим) — петухи. Они же могут и обслуживать блатных, стирать им носки, например. Четкая иерархия. Всякий знает свое место и на большее не претендует. Такая структура кажется бесчеловечной. Мне пришлось сидеть и в таких камерах, и в других, где блатной иерархии нет. Полное братство, все друг к другу уважительно относятся, все едят за одним столом, ни у кого нет места получше-похуже. Ты пришел в камеру и занимаешь место, которое есть на нарах, за столом и т. д. Кто-то уходит, ты на его место перележешь, пересядешь. Дежурство по камере по очереди и т. д. Но, что интересно, люди от такого братства постепенно устают. У них как бы появляется потребность в иерархии. И эта иерархия, структура появляется.

Есть потребность во внешней совести. Человек устает от чувства ответственности. Нужен кто-то, кто берет ответственность на себя и снимает ее с других. С тебя снимает груз ответственности. Потребность во внешней совести. И возникает человек, который начинает руководить. Он приходит извне или появляется в нужный момент, из тех, кто есть в камере. Как варяг, который призывается поддерживать порядок. Было вроде бы все хорошо, но не было порядка... И потребность в таком порядке тоже чувствуется. Не знаю, хорошо ли это или плохо, мы не будем здесь давать оценку. Это просто жизнь, как она есть. Это поиск структуры, в которой человек себя чувствует более ком-

фортно, более уверенно, привычно.

И очень страшный период, когда идет борьба за власть в камере. В барнаульской тюрьме я очень долго сидел в камере, где шла борьба за власть. Борьба именно за власть, а не борьба против порядка, причем в самой жесткой форме, плоть до поножовщины. Кто в такой борьбе побеждает? В значительной степени это зависит от того, насколько сопоставимы волевые потенциалы претендентов на власть. Пахан — это не самый сильный человек, это самый волевой. Он может быть совсем маленький, плюгавенький, и какой-нибудь верзила мог бы этого пахана, кажется, одним махом раздавить, но... пасует он, пасует и подчиняется пахану, человеку с сильной волей. Пахан просто всех в камере без всяких усилий подавляет. Пахан ничего не боится. Он готов идти на все. По крайней мере он эту готовность демонстрирует. Он может нож достать и не испугается ножа другого. Вот это и есть волевое давление.

В тюрьме есть такое понятие «гнать жути» — «жуть гнать» на человека. Приходит, скажем, новичок, и все — пахан, поддержка, шестерка — начинают гнать жути на него, испытывать на прочность. В колонии общего режима, где я отбывал первый срок, существовали, например, так называемые «фирмы». Это своего рода артель, бригада, только неформальная. В цехе, где я работал, вязали сетки-авоськи. Нормы были такие, что их трудно выполнить, к тому же и сырья (ниток) не хватало. Если в течение месяца норму выполняешь, есть возможность «положить деньги на карточку», а потом месяца три-четыре отовариваться в ларьке на полную разрешенную сумму. Если бы каждый работал сам по себе, получая свою часть ниток, денег никто бы не заработал вообще, а значит, никто бы не имел возможности отовариваться в ларьке. Фирма же (из 10–20 человек) давала возможность в месяц «закрыться» 3–6 заключенным. Кто авторитетнее, получал возможность закрываться чаще. И, естественно, каждая фирма стремилась заполнить побольше

«рабов», которые эксплуатировались жутко. Их заставляли работать, а связанные сетки забирали себе главные боссы фирмы. В рабство легче всего взять было новичков, только что пришедших этапом в колонию. Почти на каждого поначалу «гонят жути». Если человек боится, ломается, быть ему «рабом» год, два или до конца срока. В «рабы» попадали далеко не все, большая часть все-таки выдерживала это испытание.

Еще один интересный сюжет. В тюрьме редко услышишь от заключенного слово «камера», чаще звучит «хата» — то есть даже вот это убогое жизненное пространство воспринимается как дом. Камера и обживается как дом, одухотворяется. С допроса или с вызова приходишь в камеру, и появляется чувство родного угла. Даже если ты в одиночке сидишь, возникает ощущение дома. Через несколько дней ты его уже обжил, ты уже знаешь, где что, и все пространство как бы одухотворяется. Здесь не только удобства, и не только «курки» (места, куда прячешь ценные для тебя мелочи от шмона), но и чувство своего дома. Даже в тюрьме оно появляется.

— Вы лично, когда попадали в такую камеру с блатным порядком, какое вы место занимали в этих иерархиях?

— Ну, мне легче было. Мой случай особый. Скажем, в камере, где шла драка за власть (жуткая для меня была камера, совершенно жуткая, там, по-моему, и опера хорошо работали, потому что они просто на психику мне пытались давить окружением), даже там зэки меня не трогали. У меня, например, одеяло не просили. Там обычно одеяла резали на лоскуты, чтобы варить на них чай. В конце концов, в камере я остался единственным человеком с одеялом. У меня одеяло не только не разрезали на куски — даже не просили.

Я к своему статусу привык к тому времени вообще-то. Когда заходил в камеру, сразу говорил: «Я политический».

Там принято рассказывать, что ты и как. У меня статья уникальная, дело уникальное, и можно было спокойно

обо всем рассказывать. Они принимали это как должное, что человек необычный. Хотя всякое бывало.

— А как они к этому относились? Ну, когда вы им рассказывали, мол, самиздат, журнал издавал и т. д.?

— Они к этому относились с очень большим интересом. У них будто бы потребность была в таком человеке, в такой надежде или, если быть точнее, отзвуке благовестования, отзвуке через меня... Когда я чуть раньше упоминал про «образ Христа в сердце народа», то и имел в виду отзвук благовестования. У них, например, был устойчивый миф, что политического здесь заморят. По их представлениям, меня обязательно должны были заморить. И когда я освободился после второго срока, когда стало понятно, что я выхожу, для людей, которые ко мне относились хорошо, было большим разочарованием, что меня выпускают. По их мифу, я должен был умереть там.

И, наоборот, когда по концу первого срока меня раскрутили, это, в общем-то, было понятно и хорошо для всех. Конечно, жалко меня было, но это соответствовало мифу, образу.

В зоне общего режима я все время был на самых плохих работах. Я уже говорил, сетки мы вязали, авоськи. Цех на 200 человек. Работали мы в закрытом помещении. Нас из жилой зоны заводили в цех, запирали на ключ, кругом решетки, никуда не выйдешь. И там набирали 200–250 человек молодых людей, энергичных, здоровых. Естественно, тут же начиналась борьба за место под солнцем, возникала иерархия, фирмы, землячества и т. п., а я через некоторое время оказался человеком без фирмы, это почти невозможная ситуация. Там почти нет людей вне этих фирм. Я жил вне фирм. Когда нас переводили в другое здание, фирмы начали делить, какое пространство какой фирмой занимается. В качестве исключения, если ты, скажем, какой-то уважаемый человек, можешь за пятерку в месяц место купить — 50 см лавочки. Или за какие-то

другие услуги. Они, когда отмеряли метры на лавочке, зарубки ставили... нитью с узлами мерили — каждой фирме кусочек. А 1,5 метра оставили политическому, чтобы он мог лежать. И даже чтобы задницу свою ему было куда положить, когда спит, эти 1,5 м выделили в очень удобном месте, на перпендикулярном стыке лавочек. Ну, 1,5 метра — это буквально большое пространство и для двух человек. Но вот что важно, я на эти 1,5 метра никого не мог пустить. Когда я пытался одного человека пристроить около себя, ко мне тут же подошли и сказали: «Не пойдет, чтоб никого здесь не было, ты скажи ему, чтоб он отсюда ушел. Если в гости к тебе приходит, ну, пусть сидит, а работать здесь не будет».

— Это входит, очевидно, в то, про что вы сказали "образ давит". То есть вы уже не могли даже в таких бытовых вещах распорядиться...

— Не мог. Нет, если б, конечно, был другим человеком, может, я смог бы себя поставить иначе. Я просто не взял бы эти 1,5 м, наверное. С какой стати я их взял? Это вот такая штука, довольно сомнительная. Но это удобно, конечно... удобный угол. Потому что, если «палево канают», то есть менты на подходе, то пока оно «заканают» да доберутся взглядом до твоего угла, время пройдет. Значит, можно было читать, писать спокойно, спрятать листочки успеть... У меня всегда сеточка висела начатая, и если кто-то заходил из ментов, я тут же все книги и бумаги прятал и начинал вязать сетку. Так я уваливал от «работы». Это не с самого начала, а когда я стал «определенным человеком» на зоне, когда меня узнали как «определенного человека» — тоже попал в какую-то структуру–иерархию, место, нишу свою занял.

— Получается, что сама зона создала нишу, чтобы у этого человека было место.

— Да, так. На строгом режиме было несколько иначе, но скорее из-за оперских интриг. У меня там было «рабочее

место» под столом, под верстаком. Я должен был делать пружинные блоки для матрасов. У меня был верстак, под которым я мог писать или читать, т. е., когда менты заходили, меня сразу не видно было. Напарник мой меня пихал ногой, я тут же отдавал ему все бумажки (он их прятал, куда надо), а я спокойно и незаметно вылезал, пристраиваясь где-то сбоку работать. Давили на меня опера через бугров (бригадиров), и бугры указаний, которые получали, не скрывали. Бригадир меня, скажем, вызывал и говорил: мне приказано, чтобы ты работал, норму выполнял.

Все, как правило, перевыполняли норму. Там, вобщем-то, можно было и не работать, то есть внутренняя структура это позволяет. Можешь не работать. Ты можешь либо платить за норму, либо как-то еще устраиваться. Договаривайся, пожалуйста, не работай, тебе будут отчислять норму. Ну, скажем, на общем режиме, поскольку не хватало сырья, там был такой порядок, что часть людей выполняет норму, а часть сдает по сетке «за отказ от работы», то есть чтоб не посадили в ШИЗО за отказ от работы. Это и называлось «сетка на отказ». По одной сетке в день ты должен сдавать, а норма — 8. Но нет сырья, и выполнить ее трудно.

Всякие эксцессы происходят: и бьют, и режут, если человек сопротивляется фирме. Вообще человеку, который туда попадает, не позавидуешь. Особенно тяжело в первый период на общем режиме. На строгом все-таки легче, туда люди приходят, все зная, как и что. А на общий режим человек с воли попадает, как в дурдом. Постоянно состояние тревоги. Страшно. Это не только мое ощущение. Я вообще не слаонервный человек в этом смысле, тем более, что держался спокойно, и мне было легче, чем человеку с менее устойчивой психикой. Это ощущение большинства людей, которые туда попадают в первый раз, особенно не настоящих преступников и не блатных — обычных, рядовых людей. Что страшно? Да все страшно. Когда впервые видишь эти бритые головы. Меня в этапку загнали, там 30 человек.

Они так похожи друг на друга, как китайцы. Ты знакомишься, и тут же не можешь этого человека найти. Он отошел куда-то, и начинаешь думать: где он? Не различаешь людей, хотя они все, конечно, разные. Потом понимаешь, что они все разные. А поначалу они все очень похожи. Начинаешь путаться, не запоминаешь. Особенно, если нет такой зоркости, особой зрительной памяти. У меня ее нет, мне было тоже ужасно тяжело запоминать, кто есть кто. Кто тут петух, кто не петух, кто здесь бугор, кто здесь блатной... совершенная путаница. А можно действительно «попасть в непонятную», как там говорят. Там, например, когда строятся, впереди блатного нельзя вставать. Черт его знает, кто это такой стоит сзади тебя — то ли блатной, то ли не блатной, можно вставать, нельзя. Такие мелочи, они действительно раздражают.

Тебе говорят, что «запорол косяк». Впрочем, чем больше косяков, тем ниже становится твой статус — чем больше отмеченных таких косяков, которые запоминаются всеми. Я, например, когда какие-то косяки порол там, то они как-то забывались, мне просто говорили про косяк, но не шло как лыко в строку. А если человек такой, что к нему не расположены, ему каждое лыко в строку может идти.

— Вот ведь какой сильный все-таки статус. И статус, и образ. И миф...

— У меня этот сюжет отдельно записан. Это образ Христа.

— То есть совершенное бескорыстие, альтруизм?

— Нет, дело не только в этом, может быть! Ты как бы овещественная справедливость. А просто «совершенное бескорыстие» — это глупо, это как-то не так будет смотреться. Ты все-таки должен быть видным, авторитетным. То есть не должен никому кланяться, угождать, а наоборот, ты должен держаться в соответствии с этим статусом. Это уже не совсем относится к образу Христа в нашем представлении. Но то, что ты освещаешь образ человека, идущего за правду на Голгофу и готового за эту жизнь заплатить, кровью — вот этот образ постепенно начинает придавливать.

Это не так замечаешь там, как потом на воле. Когда я вышел и пытался все эти картинки собрать в голове и как-то их объяснить себе, я все понял иначе, чем видел там. Там у меня в голове ничего такого не было: образ Христа, Голгофы... Все это сидело в подсознании.

Но раз уж тебя держат в таком авторитете, ты должен стремиться это выдерживать. Это тоже накладывает некоторые ограничения на стиль поведения, на твою натуру. Может быть, это и придавливает. А если говорить о более сложных вещах, возможно, это предназначение твое, которому ты, в общем-то, не мог соответствовать. Понимаете?

— Вы эту мысль так ощущаете?

— Да, так.

— Вы говорили о том, что на зоне ведь есть верующие и есть политики. И это люди разные, хотя иногда верующие бывают политическими. Этот образ возлагается эсками или впечатывается в политиков, а не в верующих. Не могли бы вы подробнее рассказать, почему и как это происходит?

— Это очень сложный вопрос. Может быть, верующие были не такие... Вот если бы был такой верующий, как отец Арсений. Вы, наверное, читали книгу об этом священнике? Мне кажется, такой человек смог бы представлять образ Христа, но те, что мне встречались, нет.

— Значит, дело именно в верующих, а не в представлении заключенных о них?

— И в том, и в том. Но, по-видимому, при такой сильной вере, как у отца Арсения, все было бы по-другому. Он ведь мог даже чудо совершить.

— Значит, там вам попадались люди слабенькие. Верой они себя спасали, а других спасать не умели.

— Да, в основном так. Они спасали себя.

— А себя они спасали все-таки?

— По-всякому было. Бывало, что и не спасали. Я думаю, истинно верующему человеку ситуацию, подобную моей,

было бы легче перенести. Может быть, он бы как-то иначе из нее вырвался.

Если вернуться к вопросу о реформе, то прежде всего надо, конечно, малолеткой заниматься. Что в первую очередь надо спасать — это детей. Я даже думаю, что стоило бы вообще ее прикрыть, малолетку. А что касается просто бытовых вещей, то надо проверять питание, режим, содержание, условия... Конечно, это ужасно, когда в бараке для туберкулезных нары в три яруса и у них меньше, чем по метру площади на человека приходится. Такая сконцентрированность, она неминуемо приводит к агрессивности, к жестокости, к постоянным конфликтам между заключенными. Ведь даже коровы на лугу, они отходят друг от друга, чтобы дыхание не смешивалось, — пастухи это знают.

— В одиночке не все могут...

— Самое светлое воспоминание для меня — это Бутырка, два месяца в одиночке коридора смертников, где вообще абсолютная тишина, нет динамиков. А камера большая, на 4-х человек. Самое прекрасное было время. Книг навалом, пиши, сколько хочешь. Не надо никого бояться, сокамерников нет, никто тебя не сдаст.

— А почему вас туда поместили?

— Был предлог — участие в «оконной войне», в совместной голодовке, хотя формально мне прокурор дал санкцию на одиночное содержание за «ведение агитации и пропаганды в камере, жалобы сокамерников». Каких сокамерников, мне, естественно, не сообщили. Вообще есть жалобы — и все. Вот у нас они есть, лежат. Так, помахали передо мной пятью исписанными листочками, то есть советский зэк с вами сидеть отказывается, вы антисоветчик. Эту санкцию мне дали через две недели после того, как эта голодовка произошла, и меня перевели в коридор смертников. А, как я понимаю, дело в том, что я почти с ходу установил контакт с волей. И они никак не могли поймать меня, понять, как я это делал — то есть я каждый месяц получал

записки с воли. Я был в курсе всего, что на воле происходит, и это было очень трудно скрыть при наседках, или еще как-то, или в разговоре, может быть, со следователем. Они выяснили, что я имею информацию с воли. И второе — первую записку я переслал в феврале, то есть всего через два месяца после того, как сел в тюрьму, и она была действительно первая. Тогда ни от кого больше вестей никаких не приходило, и Катя, моя жена, ее пустила довольно-таки широко. Записку где-то засветили, и опера начали таскать моих сокамерников и пытаться найти канал. И, видимо, для большей изоляции, для лучшей изоляции меня посадили в одиночку коридора смертников.

Именно в одиночке коридора смертников мне удалось написать и отправить почти половину того, что я написал в Бутырке. Хорошо работалось потом и в камере «коридора дураков», где я сидел сначала вместе с другим зэком, потом один. В большой камере, где много народу, работать трудно. Надо ведь не только незаметно для сокамерников писать, но и тут же прятать («курковать») написанное так, чтобы не стореть (не «спалиться») на случайном шмоне. Надо дожидаться счастливого случая, чтобы «закуркованное» передать — и сделать это все на глазах сокамерников ужасно тяжело. Когда же ты сидишь один... К внешнему контролю, в отличие от внутрикамерного, всегда можно приспособиться. Уже через три месяца после ареста ты начинаешь слышать все тюремные звуки. Вот, например, как узнать, сколько человек сидит в такой-то хате? Идет раздача (обед или завтрак), три раза около этой камеры черпак бьет о дно миски, хлопает форточка-кормушка. Все понятно: в этой камере три человека, а в соседнюю сегодня кого-то добавили. Интересно кого? Этих звуков не ловишь вначале. А потом живешь в них. Открывается соседний прогулочный дворик, ты сразу слышишь, сколько человек зашло.

В коридоре смертников — абсолютная тишина, там динамик нет, радио нет. Я и рад был этому обстоятельству:

громыхалка (т.е. радио) мне страшно уже надоела, в общей камере она работает с 6 утра до 10 вечера. Орет динамик, и его не заткнешь. Конечно, дежурный у смертников днем в какие-то часы просто непрерывно ходит по коридору и заглядывает в глазки. В коридоре — ковер. Шагов почти не слышно. Но есть — доносятся — какие-то другие звуки. Слышно, например, как дергается глазок в соседней камере или включается и начинает жужжать телекамера, которая следит за надзирателем. Он еще не дошел до тебя, а ты уже принял нужную позу, сделал нужный вид. Ему и в голову не придет, что ты только что писал или курковал написанное. Или когда дверь коридора открывается и закрывается, ты по промежутку угадываешь, сколько человек зашло в коридор. Долгая пауза, потом слышишь шаги, постукивание ключом — это «веселые ребята», и сейчас будет ежедневный шмон. У тебя, может быть, не больше минуты, но ты, как и они, уже профессионал. Тебе и минуты хватит, чтобы к шмону подготовиться. Тем более к такому, который бывает ежедневно, примерно в одни и те же часы. Вообще слух обостряется, как у слепого человека. Весь мир (или почти весь) приходит к тебе звуками, голосами. А глаза как бы оборачиваются внутрь, затворяются. Вживание в тюремные звуки — это особая тема. Первые месяцы совершенно их не замечаешь, потому что ловишь звуки вольные: вентилятор на соседней фабрике работает, ходят машины, звенит трамвай... какой-то звук дальний ловишь. Потом все это пропадает и надвигается мир тюремных звуков: из корпуса напротив кто-то подельника вызывает, в соседней камере дерутся, а этажом ниже менты какого-то бедолагу в карцер выволакивают. Все это начинает работать.

Ты вырастаешь в тюремную жизнь. Первое ощущение от тюрьмы — мертвый дом, склеп, ты оказался заживо погребенным. Второе — начинаешь понимать, что не ты один заживо погребен. Ты начинаешь видеть, различать, чувствовать других людей, тоже заживо погребенных. Лежит на

шконке человек, видишь, он ушел в себя, в воспоминания, или — ему тяжело... Ну вот это все начинаешь видеть, начинаешь чувствовать. Далеко не сразу появляется чувство другого человека. А в зоне чувство другого человека появляется еще позже, чем в тюрьме. И вот ты вырастаешь в эту жизнь потихонечку.

Человека, который здесь уже побывал, сразу видно. Когда он заходит в камеру, понятно: вот человек, знающий свое место здесь, имеющий свое занятие, то есть дело, которое помогает скоротать время. Он сразу входит в эту жизнь.

Это и грустно, но, с другой стороны, то, что ты начинаешь видеть людей, хорошо. А что же — сидеть в прихожей, закутаться, ни на что внимания не обращать?

Многие, конечно, пропадают, если долго сидят, уже не могут жить на воле. Есть какой-то критический срок. По моему опыту, моим наблюдениям, это три года. Если человек отсидел меньше трех лет, он боится тюрьмы, лагеря. У него остается страшное впечатление от пережитого. Я часто слышал от людей, которые сидели меньше 3-х лет, что лучше повеситься, чем снова попасть в тюрьму. Тут точного срока для каждого не определить, скажем, для женщин он значительно меньше, но, видимо, три года, более-менее общий предел: через три года человек адаптируется, привыкает к тюрьме, приспособливается, и для него, наоборот, та, вольная, жизнь становится более трудной, сложной. Так что если по срокам говорить, то больше трех лет человеку давать нельзя. Это бессмысленно и для него, и для общества: оно получает гарантированно тюремного члена, криминального человека. Или тюрьма должна быть совсем другой, или нельзя сажать больше, чем на три года.

Адаптационный период должен быть, наверное, какой-то перед выходом на волю. Да, большой, не менее полугода. Я делал ряд предложений по этому поводу психологам, которые приезжали в лагерь.

— Кажется, на сегодня хватит. Спасибо большое.

«Воскресенье» фрагменты

Поэтический раздел

Поэтический раздел представляет собой попытку реконструкции легендарного альманаха «Воскресенье», созданного Валерием Абрамкиным.

Началом общественной деятельности Валерия были лесные слеты в Подмоскowie, названные «воскресеньями». В этих слетах участвовали музыканты, барды, поэты, в основном вышедшие из недр КСП, которых не устраивал тот жесткий контроль, под который поставил КСП московский горком комсомола, а отчасти и органы КГБ.

В 1977 году по материалам «воскресений» Абрамкин составил сборник стихов, песен и прозы «Воскресенье».

«Сборник по материалам Воскресений (Москва, 1977 г., 185 стр.).

Сборник, посвященный памяти Веры МАТВЕЕВОЙ, умершей в августе 1976 г., открывается четырьмя ее песнями. В статье–монологе «Судьба и песня» Петр СТАРЧИК размышляет о том, как песня становится «реальностью бытия». Песням Веры МАТВЕЕВОЙ посвящены «Заметки на другой стороне листа» и «Домик на сваях (цикл историй)» В. АБРАМКИНА.

В поэтическом разделе сборника — стихи и песни авторов–участников «воскресений» (А.МИРЗОЯН, В.ВИЛЬДШТЕЙН и др.), а также Ильи ГАБАЯ, С.ГЕНКИНА. О творчестве Даниила ХАРМСА пишет В. АБРАМКИН в статье «Посему сказано... (предварительные заметки)». Проза представлена повестью М. ЛИЯТОВА «Девочки на мосту» и главами из романа С. БАГРОВА «Конквистадоры» о Сибири конца 20-х годов. Напечатана часть «Воспоминаний и дум о пережитом» М. НОВИНСКОГО (1889–1969). Публикуется перевод доклада Оскара СТЕРНБАХА «Поиски счастья и эпидемия депрессии», посвященного анализу депрессивного синдрома среди молодежи, бурное распространение которого автор связывает со «снятием ограничений на пути к поискам счастья». Статья А.Б. разбирает и критикует положения статьи СТЕРНБАХА. В конце сборника в «Информации» рассказывается об истории становления и развития Клуба самодеятельной песни в Москве, о «воскресеньях» (Хр.41). Хроника текущих событий. Выпуск 47».

Аннотация к сборнику «Воскресенье», была помещена в Хронике текущих событий (ХТС), выпуск 47.

Илья Габай 9 октября 1935—20 октября 1973

участник правозащитного движения 1960-х-1970-х годов,
педагог, поэт, писатель, сценарист

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ИМЕНЬЕ РОДОВОМ...

(Дочь губернатора!
С чего бы ей? А — вот...

«В последний раз на беду — безлунье.
И дерево бормочет, как колдунья»)

Идет отсчет пророчеств и проклятий,
Привычный, надоедливый отсчет...

(«И ветки распростерлись, как распятья...
Не все ль равно — тюрьма иль эшафот?»)

А для чего? Зачем идти на крест?
Зачем тебе — в огне, в крови, в железе —
Унылый мир, где каждый чист и Крез
И все поэты пишут «Марсельезы»?

И то сказать: на взвинченном пути,
Где весь словарь улегся в слово «порох»,
Есть авторы листовок. Есть статьи.
Но нет поэтов. И не жди их скоро.

И горько знать, но, если бы не казнь
И если б старость — в охах, вздохах, склоках, —
Ты только и сумела б, что проклясть
Паденье нравов и ненужность Блока.

Идет отсчет, и цель, как смерть, проста.
И далеко. И не дожить до Блока.
И, стало быть, такая есть дорога,
Есть путь такой: поверить в смерть, как в Бога,
И так же: до конца и до креста.

Но ты прелестна. Только в этом суть.
Ты — женщина. И правда только в этом.
И надо жить. Жить и сберечь красу
Куда трудней, чем игры с пистолетом.
За что ж — тебе? За тяжкие грехи?
За что твою прославят душу живую
Не светлые и робкие стихи,
А боговдохновенные призывы?

И сколько надо храмов на Крови,
Чтобы понять, отбросив прочь химеры,
Что смертоносна вера без любви,
Как не спасает и любовь без веры?

Запущены, подобно колесу,
Необратимо: «выстрел...», «порох...» «бомбы».
Идет к концу намеченный отсчет.
А ты красива. Только в этом суть.
А ты себя готовишь к гекатомбам,
И все равно: тюрьма иль эшафот.

В последний раз — безлунный час Вселенной.
И дерево бормочет. Зябнет пруд.

И с динамитом — к равенствам и братствам.
И все как было: только смертью смерть.
И нет пути. И вытерпеть — пилатство.
И святотатство — если не стерпеть
И не уйти. И мир пропитан тленом.

И нет пути... Идет к концу отсчет.
Но лучше так — пока не на коленях,
И все равно — тюрьма иль эшафот.
И лучше — так. Пока не победили,
Пока к присяге не пришли умы,
Пока твой друг, мечтающий о крыльях,
Не бьется над созданием Колымы,
Пока поэтов не ведут к причастью,
Пока ни вздохов старческих, ни склок,
Пока стихов еще не пишет Блок,
И не замучить вам его, по счастью,
Пока у «Марсельезы» чистый звук,
Пока твои друзья честны и чисты,
Пока твой друг не маршал, не министр,
И твой палач — не твой вчерашний друг...

А время каменеет. И у фраз
Нет свойства передать из давней дали,
Что люди жили, мучились, страдали
И не свершали действия напоказ.

Нет горечи и боли у речей.
Я думаю, что, если б не картины,
Мы вряд ли ужасались гильотине
И братски полюбили б палачей

И оттого, что смысла в слове нет,
А правда только в стоне, крике, кличе —
Поклонники заплечного величья
Плодят кумиров и куют венец.
Я, знаете ль, не против горных рек —
Свободная и гордая стихия,
Но мне Ока милее Енисея.
И, в сущности, я тихий человек.

Как лето ленью пахнет! Вот теперь
Забуть бы все, перечеркнуть, как шутку...

Но нет пути: стерпеть иль не стерпеть —
Как выбор меж пилатством и кощунством.
Не вытерпеть — на злобе и неверье
Построить мир, где каждый чист и сыт.
А вытерпеть — за счет чужих обид.
Чужого крика и чужой потери.

Ах, слава Богу, мы не Робеспьеры,
Но почему должны терпеть мы стыд?
Не вытерпеть. Пускай грядущий толк
Тебя хвалой или проклятьем метит
Когда-нибудь родится мудрый волхв,
Он все поймет — но не заплатит смертью.

Ты — женщина. И только в этом суть.
(— Дочь губернатора... Казалось бы...А — вот!
И ты прекрасна. Только в этом дело.
(— «И все равно — тюрьма иль эшафот...»)

Июнь 1968года

Владимир Бережков

российский поэт, композитор, бард

КАМО ГРЯДЕШИ

Как в этот город вели все дороги,
так из него выводило не меньше,
шли по дорогам узреть и потрогать
и убегали — кто пьян, кто помешан.

Очередь жизни — туда и оттуда,
как и всегда, все надежды надежны.
На перепутье встречались люди
и вопрошали: КУДА ЖЕ ИДЕШЬ ТЫ?

КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?

На перепутье тяжелою ночью
Петр, спасаясь, но зная, что будет,
встретил Христа с последнею ношей,
с вечным его на плечах перепутьем.

Пыль на дороге — Я тоже оттуда —
Ветер развевает, в грязь замесит нас дождик;
и не спасутся пришедшие люди,
так для чего же куда же идешь ты?

КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?

Жизнь так проста — или верь, или думай;
туман предрассветный вынесет зримо
крест от креста, где дороги сойдутся,
как бы ни шел ты — в Рим иль из Рима!

Очередь жизни — туда и оттуда —
Как там надежды? — Надежды надежны...
На перепутье встречаются люди
и вопрошают — Куда же идешь ты?..

КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?

Александр Мирзоян

российский поэт, композитор, бард, телеведущий,
теоретик авторской песни

ОДИССЕЯ

Догорая дотла, как ахейская шапка на воре,
Тает в небе луна, и на берег бросается море,
Где сидит человек, отирая соленую влагу:
Он когда-то спешил, он вернуться мечтал на Итаку.

Но куда торопиться теперь, если те, кто и помнил, забыли?
Двадцать лет — это срок, что длиннее и глубже могилы,
Для чего возвращаться туда, где у всех помутится от страха?..
Невозможно вернуться в свой дом, не однажды оплаканной
тенью из мрака.

Потому-то никак Одиссей и не может покинуть застолья
И своей упивается горькой, своей неотступною болью.
Вот три тысячи лет собираемся мы на пиру Алкиноя,
И опять, и опять на устах у певца рассыпается Троя...

Все окончилось так, как о том насквозила Сивилла,
И сбылось, что обещано было Гекубе, ему и Ахиллу.
Почему так случилось и кому эту тайну откроют? -
Ведь никто, ведь никто не хотел тогда плыть в эту Трою.

Ну подумай, кому столько лет было нужно бросаться
на стены —
Неужели им дел не хватало без этой ничейной Елены?
Для чего ж родилась эта глупая злая затея —
Разве только, чтоб будущим римлянам род получить
от Энея?..

Да, конечно, в преданьях — одно, а на деле бывает иначе,
И кончаются битвы и встречи не пиром, а плачем,
И хоть медом с вином заливают нам уши сирены,
Но у всех на губах остается лишь привкус железа и пены.

Так по свету идем, под плащом согревая тревогу,
Только нам не звезда, а смола освещает дорогу,
И по суше, по морю снуют деревянные волки,
И торчат из воды наших странствий немые осколки...

Вот сидит Одиссей, свое место заняв у огня,
Вспоминает, как пахло в паху деревянном коня,
Как трещали троянские шлемы от каждого взмаха
И как страшно кричала и билась в покоях своих Андромаха.

А потом он на берег идет и скитаньем, и вымыслом полный,
И торопит ночами, и гонит огромные волны,
И по лунной дороге навстречу эгейскому мраку
Опускает лицо, и плывет на Итаку.

И хотя, и хотя на мизинец ему не оставлено веры,
Он глядит тяжело, как за мысом вдали исчезают триеры.
Для чего он старался, бессмертных противился воле?..
И глаза его тускло мерцают в ночи и сливаются с морем.

1973 год

Виктор Луферов 20 мая 1945—1 марта 2010
российский поэт, музыкант, бард

БАЛЛАДА О МУЗЫКАНТЕ

В колодезный квадрат двора
Пришел к нам музыкант с утра —
Ах, боже мой! —
И в равнодушной тишине
Запел о птицах, и огне,
И о любви одной...

Он о закрытом спел окне,
Он спел о бешеном коне,
Еще он спел
О Иве-женщине одной,
Как плачет Ива над рекой,
Еще — о том,
Как он безмерно одинок,
Как падает к ногам цветок.
Еще — о том,
Как стены старые темны,
Как серебрят их свет луны,
Еще — о том,
Как в битве был король убит
И наголову был разбит
Его гвардейский полк,
Как, плача, мчался вдаль гонец
И сердце билось, как птенец...
И музыкант умолк.

И окна взглядом он обвел...
Одно из двух: ты плохо пел —
Ты плох, певец! —
Или черствей я не встречал,
Чем в этом чертовом дворе,
Людских сердец.
Как глухо голос здесь звучит,
Как окон мертвенно стекло...
Но, боже мой!
Как вздох — открылось вдруг окно,
И сердце радостью такой
Обволокло.

И сверху женщина глядит,
К его ногам летит цветок.
Ах, боже мой!
Ведь ты теперь, мой музыкант —
Глаза от радости закрой —
Не одинок.
Ты пой, на окна не смотри,
Лицо ты к небу запрокинь,
Ах, боже мой!
Как стены старые темны,
Но над твоею головой —
Такая синь.

И он запел: «День промелькнет,
Взойдет вечерняя звезда,
Закроется окно -
Ведь в этом чертовом дворе,
Спокон веков и навсегда
Так заведено.
Сквозь арку темную уйду,
Цветок подаренный храня,
Но, боже мой,

Там сыпь булыжной мостовой
Всегда бросает в дрожь, а здесь...
Здесь вспомнят про меня.»

И он цветок с земли поднял,
И в арку темную шагнул —
И вот уж разобрать с трудом,
Сквозь толщу каменных домов
И уличный тяжелый гул,
Что он поет о том,
Как музыкант пришел с утра
В колодезный квадрат двора —
Ах, боже мой! —
И в равнодушной тишине
Запел о птицах и огне,
И о любви одной...

1977 год

Вера Матвеева 23 октября 1945—11 августа 1976
бард, поэт, композитор.

ПРО ЧЕРНУЮ ГУАШЬ И ПРО НАДЕЖДУ

Беды не тают, а дни улетают,
но где-то надежда машет рукой.
Время промчится, и, что ни случится,
ночью безбрежный хлынет покой.

Кто-то красное солнце замазал черной гуашью
и белый день замазал черной гуашью,
а черная ночь и без того черна.
Кто-то все нечерное черной гуашью мажет,
но в черном окне кто-то белой косынкой машет,
и эта косынка издалека видна.

Беды не тают, а дни улетают,
но где-то надежда машет рукой.
Время промчится, и, что ни случится,
ночью безбрежный хлынет покой.

Вот уж не стало зеленой травы под ногами,
и не стало желтой тропы под ногами,
и не стало синего неба над головой.
Кто-то черными взялся за черное дело руками;
но, пока в темноте мелькает белое пламя,
ничего не может случиться со мной.

Беды не тают, а дни улетают,
но где-то надежда машет рукой.
Время промчится, и, что ни случится,
ночью безбрежный хлынет покой.

ВЕРЕ МАТВЕЕВОЙ

Закроем все окна и стекла заклеим бумагой,
Гуашь разведем, нарисуем на первом стекле
Весеннее солнце, косой горизонт за оврагом,
Пушистое облако, речку и лес вдалеке.
Зеленым узором закроем второе окошко,
Пусть ветви деревьев свисают до самой земли.
Раздвинем траву, проведем голубую дорожку
До серой скамейки под кронами стареньких лип.
А в третьем окне будет озеро. Белым туманом
Прикроем от холода тело дрожащей воды.
И в зыбком тумане едва различимым оставим
Свет дома на сваях и след догоревшей звезды.
Закончим работу, а после за чаем остывшим
Распутаем сетку давно позабытых дорог,
И даже не вздрогнем, когда за спиной услышим,
Как грохнет по двери железом обитый сапог.
Потом, ничего не оставив от нашей работы,
Совсем не от водки, скорей от погрома пьяны,
Они не увидят за окнами черной решетки,
Они не увидят за окнами серой стены...
За нашими окнами будет весеннее солнце,
И домик на сваях в тумане у самой воды.
За нашими окнами вспыхнет веселое солнце,
Дорожка к скамейке и след ошалевшей звезды...

И, сжав до предела свои побелевшие крылья,
Мы бросимся вниз и взорвемся у самой земли...
И станет понятно, зачем мы все окна закрыли,
Заклеили стекла бумагой,
Гуашь развели...

Занавешено окно, опустел наш дом.
Недопитое вино за неприбранным столом.
Слоем пыли тишина, время—пустоцвет,
И бежит-спешит волна занести мой след.

Я прошу тебя: погоди
Начинать нашим бедам счет.
Тем, кто сбился на полпути,
День разлуки растянется в год.
Пусто в ящике — ерунда,
Дилижанс мой идет на круг.
И не нам заносить в календарь
Дни свиданий и дни разлук.

Провисает в пустоту нить моих дорог.
Не тревожься — я дойду в отведенный срок.
Грянет выстрел за спиной, ты закрой глаза:
Это дальней стороной тянется гроза...

Я прошу тебя: ты не верь,
Будто все у нас позади.
Непоседа наш Желтый зверь
В желтой клетке не усидит.
Ну и что ж — не знаем, когда.
Мы привыкли к нежданно-вдруг.
Пусто в ящике — ерунда...
Дилижанс мой спешит на круг.

Отболело, будто отмечталось.
Ядовитой зеленью вражды
Не беда нас гонит, а усталость
В вечном ожидании беды.
В бездорожье где там перепутье —
Не поможет сказочный клубок,
И не свяжет нить судьбы и сути
Будущим беспамятством дорог.

Нам за солнцем, за солнцем вслед,
А обратной дороги нет.
От восхода и до заката
Все лететь над землей распятой.
Хлещет дождь, а мы в Эристань...
Не спеши, мой друг, приотстань...

Но мы верим, да не верить странно,
Что не срежет ниточку судьбы.
Птицей, белым облаком, туманом
Вырваться из цепких лап беды.
Оглянуться прежде, чем растаять.
И сквозь ветви срубленной сосны
Разглядеть на шубе горностая
Первые проталинки весны.

Это будет когда-то, где-то.
Что там побоку, что воспето.
Черным пологом небосвод,
Век без малого дождь идет
За Смородиной, за рекой.
Успокой меня, успокой...

Переставит время, переставит.
В доброй сказке солнышку светить.
Мы устанем, кто-то не устанет,
Как молитву под дождем твердить:

Дождик–дождик, перестань!
Мы поедem в Эристань.
Богу молиться.
Кресту поклониться...

Александр Седов

ЗВОНАРЬ

Памяти Ильи Габая.

Это — вам,
идушим в храм
и стоящим в храме!
Я — над вами!
Четыре веревки в моих руках;
колоколами
над головами —
слова в строках...

Сперва
кружилась голова:
упасть боялся. —
И я качался,
тебе крича:
«Понимаешь, солнце — слеза
на лице небес! Рассказать,
как его погладить рукой,
сбив ногами тучи? Постой!..»

Но ты не хотела:
тебя ведь не было, нет и не будет!

А я — невольник
моей колокольни:
бич мой — звон,
рвущий тело,
клич в бездонность...
А солнце село,
и там, на небе, кровавый шрам,
и кровь струится по куполам.

Четыре ветра
связали руки,
над верой вертят,
над кручей крутят...
Вам
сам
душу дам. —
По колоколам! По колоколам!
— Бил в небо? — Было дело.
Мне бы день!
Поздно! Тело
подберут под колокольной.
Кончен звон — и все довольны!..

В волнах вёсла, локти лодок;
лес склонился, глядя в воду...

Плохо слушал меди пенье
край глухой, Большая Зона.
Этот дивный звон в Успенье
был его последним звоном.

Начало декабря 1973 г.
через несколько дней
после гибели И. Габая.

ПЕШКА

Нас расставили на доске.
Белый с черным, как в жизни, смешан.
Сзади — конные; я же — пеший —
жесткой пешкой в мягкой руке.

Кто играет и с кем? — Как знать?
Мы не знаем. — В том нет беды.
Ах, как просто вступает в рать
пешка, знающая ходы!

Деревянный череп — без глаз.
Потому и не вижу цвета.
Отличает врага лишь это.
Остальное — все, как у нас:

точно так же труслив король;
королева так же хитра;
каждый подданный знает роль...
«Пешки, — к бою! Вперед! Ура!»

Так какого же цвета я? —
То ли белый я, то ли черный?
Я — за Бога или за черта? -
Не пойму в потоке вранья,

но шагаю — только вперед.
Слишком слаб я «в этой связи»!
В спину враг меня и убьет —
пешку, метящую в ферзи!

Вот шаги на моем пути:
черный, белый и снова черный.
Вправо-влево мы бьём покорно —
легче будет другим идти!

В двух шагах — сплошные ряды
тех, кого я так не люблю,
и — награда за все труды:
«Пешка, делай шах королю!».

За спиною — их офицер.
Трудно было его почуять,
а теперь собой заплачу я
за кого-то из «высших сфер».

Шестьдесят четыре пятна —
мир наш в клетке казенных стен...
Не запомнит моя страна
пешки, отданной на размен!

Июнь 1977 г.

Михаил Занадворов

российский поэт, прозаик, драматург, переводчик, правозащитник

МОИ ПОЭТЫ

Живут мои поэты в городах,
Никем не замечаемые, где-то,
Я знаю, бродят по Руси поэты.
Над ними — ночь обманов и стыда.
Их лица с лакированных обложек
Самодовольно не сияют ложью —
Такая почесть им не по плечу.
Лучами вовсе не согреты,
Они идут по улицам, как в гетто,
В ладонях пряча тонкую свечу
От тех, кто причащен печати Зверя,
И этот огонек любви и веры,
Их сердцем сбереженный, будет жить.
В крошечном мраке, в тюрьмах, психбольницах
Лучом надежды осияет лица,
И тленья, и бесчестья избежит.
Не купленные жирным гонораром,
В потертых куртках и пальтишках старых,
Путиами рабства родины моей,
Вдали от торной столбовой дороги,
Исполненные смуты и тревоги,
Они проходят, в кровь стирая ноги,
Клянут ее и думаю о ней.
Бетонной отделенные стеною
От миллионов, что за их спиною
Живут, читают, любят, говорят,
Идут по ножевой, неверной грани,
Под шарфиком дырявым прячут раны,
Как знаки неоплаканых утрат.

Но все равно — в бреду, в аду, в больнице
Все громче слышен шепот очевидцев,
Поэзия и красота жива!
Пусть торжествуют и пророчат перья —
Она ломает запертые двери,
И кончится бесславно царство Зверя,
И громом станут тихие слова!

Октябрь 1977 г.